

Александр Степанович Грин

Блистающий мир



Александр Грин
Блистающий мир

«Public Domain»

1921-1923

Грин А. С.

Блистающий мир / А. С. Грин — «Public Domain», 1921-1923

© Грин А. С., 1921-1923
© Public Domain, 1921-1923

Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	7
Глава III	8
Глава IV	9
Глава V	12
Глава VI	15
Глава VII	17
Глава VIII	21
Глава IX	24
Глава X	28
Глава XI	31
Глава XII	36
Глава XIII	39
Глава XIV	40
Глава XV	42
Глава XVI	46
Часть вторая	51
Глава I	51
Глава II	53
Глава III	56
Глава IV	58
Глава V	60
Глава VI	62
Глава VII	64
Глава VIII	73
Глава IX	76
Глава X	79
Глава XI	80
Часть третья	83
Глава I	83
Глава II	85
Глава III	88
Глава IV	90
Глава V	95
Глава VI	97
Глава VII	102

Александр Грин Блистающий мир

Часть первая Опрокинутая арена

Это – там...

Свифт

Глава I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» Человека Двойной Звезды; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, – не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба – любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала – отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара – негра из африканской Либереи, – раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал истинно-небывалое. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду, – говорила афиша, – 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя Человек Двойной Звезды.

Не имеющий веса
Летящий бег
Чудесный полет

Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до трех секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды – величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агасиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения. Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изошренный глаз такого пройдохи, как Агасиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. – только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агасиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

– Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он – редкость даже и для меня, испытавшего

за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не могу выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно *один* раз, ни больше ни меньше, – *без* гонорара, «*без*» угощения, *без* всякого иного вознаграждения. – Эти три *без* Агассица свистнули солидно и вкусно. – Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем – без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделившись в воздух, – двинулся через стол, задержавшись над ним, – над этой вот самой чернильницей, – не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. «Вот все, что я умею, – сказал он, когда мы уселись опять, – но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил, что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они *являются*. Так *это* является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался – и даже – зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени, – сказал он, – слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот – единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдоволь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится „царь природы“. И капли пота покроют его лицо»...

Глава II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что Двойная Звезда (как приказал он обозначить себя в афише) – граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанно-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, – которую из них купит он подо роже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и брэнчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер – шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене – беглый преступник. Они же сочинили, что Двойная Звезда – карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмирившего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», – особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о Двойной Звезде; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора – измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний – застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря неважна отдельно каждая сушая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль – и Цезарь.

Глава III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея – в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден, стоя, переминаясь с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих, как люстры, на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стречи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица – непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка – галерея; силась высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение а gнопо, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля – и лица и выражения. Цирк, залитый светом, от укрепленных под потолком трапеций, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, – был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства – скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, – шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов – традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

Глава IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агасиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился Двойная Звезда.

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони – клоунов, клоуны – акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остоленение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вахк и вакханка – в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шалых тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унижил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» – с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее. Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал – «нет».

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он оставил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

– Галль, все проходит! Вы – человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами; что причиной вашего горя – я.

– Только вы и могли быть, – сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. – Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

– Как?!

– Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

– Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы как на несчастье на любовь, если поразит она меня без судьбы.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

– Любовь и судьба – одно... – Галль помолчал. – Или... что вы хотите сказать?

– Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, – Руна скорбно двинула обнаженным плечом, – что такой судьбы я... недостойна. – Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. – Но я все же хочу, чтобы эта судьба была *особенная*.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

– Конечно, я вам не пара, – сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. – Вы достойны быть королевой. Я – обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «Добрый ли я человек?» А нищему все равно.

– Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, – сказала Руна. – Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, – едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

– Экстаз?

– Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немоци слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

– Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, – сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатления, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода – не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу, – она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство; спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же, при среднем росте, казался выше благодаря эполетам.

Галль – интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...»

Конец фразы: «если бы – со мной...» – застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

Глава V

Последний перед выходом Двойной Звезды номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечеого, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстыми веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; середина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

– Сыграйте, – сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, – сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например, «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

Двойная Звезда, – каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту, – был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький, строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинута.

Он отошел к барьеру, притопнул и, не спеша, побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения – на пустяки, может быть, треть секунды, – но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжелой гири против золотника, – так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями.

Балетный критик Фогард сказал: «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...» – «Факирство, гипноз!» – «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», – возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал Двойная Звезда, сея тревожные ожидания, разрастающиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже мань-яки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как Двойная Звезда выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. Двойная Звезда несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заматалось подкошенное внимание, – зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но, когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, – теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась вниз.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завывала; крики: «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеции и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе Двойная Звезда.

– Оркестр, музыку!! – кричал Агасиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд сверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги. . .» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «Зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

Глава VI

Когда, вновь коснувшись земли, Двойная Звезда стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, – исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

– Вот он умер, – сказал Друд, – погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью – безотчетной грустью горна, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам – чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить или, если в том не успеют, окружают его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование – абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк – так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился – тоже – наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадом миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь,

подобно мартышкам. Все звуки, поднимающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а фронт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась, подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромных стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

Глава VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий забыть необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи – плоды бессонной ночи, – украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить, – лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопчат, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнозизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синемаграф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии, или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; повара, гримасничая и надевая у плиты друг друга шелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умиловить контролера сигарой или проскочить, уловив момент, – внутрь.

– Вздор! – сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. – Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, – не было.

– Легко сказать – «вздор», – возразил лакей, – тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

– А что тогда будет? – воинственно спросил повар. – Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

– Я? Вру?

– Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

– При чем тут подпорки, – возразил, вспотев от отчаяния, лакей, – когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

– Вздор! – сказал повар. – Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

– Уж всем известно, что вы неверующий, – заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства, – а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек, – дело было ночью, – и просится ночевать...

– И я хорошо помню, – перебил лакей, – как вышел из двери солидный, вежливый господин. «Что там произошло?» – спросил я его и вижу, что он сильно взволнован; он мне сказал: «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести – «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

– Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: «Что? Разве не была я права?» – она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси, или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

– Нет, нет! Не говорите! Не говорите! – воскликнули женщины. – Ай, что же вы там увидели?

– Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. «Обожаемые мои члены! – сказал он и снял правую ногу. – Мои любезные оконечности!...» Тут, – ей-богу, я сама это видела, – отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и... и...

– Ну?! – подхватили слушатели.

– И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила руки и откинулась, переводя дух.

– Ну, уж это ты врешь, – сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки. – Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

– Я давно замечаю, – хлестко возразила она, – что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

– Странное дело, – сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. – Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

– Какое же это странное дело? – спросил лакей.

– Как вспомню – мороз подирает, – сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров. – Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена, – постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер, – еще раз дернулась ручка, затем раздалась шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведя ее, он остановился и повернулся, – но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

– Понимаете?

– Черт побери, – сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор!», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира. – Как же он мог оказаться у себя дома?

– Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи, – пояснил коридорный, – даже мыши не пролезть в замочную скважину.

– А что сказал управляющий?

– Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал вверх, должно быть, затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

– Он редко бывает дома, – сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних.

Бетси пропела:

– Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройтись по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесполезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеянее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких слу-

чаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

– А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, – знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

– Прямо?! – воскликнул лакей. – Так вот! – Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон, крикнул: – Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, – этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: «Идите скорей, вас требует управляющий!»

– По-вашему, все мошенники! – вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях, Бетси. – Это, может, вы летаете, а не Айшер!

Глава VIII

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света – фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницей, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, – луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлага с казенными пуговицами, но вблизи выразила всего человека, который владел ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола. Фонарь исчез, его заменил свет яркой зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет также исчез, уступив блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницей. Он взял резкий тон крайнего неудовольствия:

– Вы обслуживаете верх и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай и приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил наконец покончить с ленью и безобразиям.

– Сударь, – сказала пораженная девушка, – извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете... – Она подняла передник, тыкая им в глаза. – Я так стараюсь, не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам, должно быть, насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

– Кто бы ни жаловался, – почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой. Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки; я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать; а затем, прекращая наш разговор, предупреждаю, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне, – решила она, – перешипал мне все руки, но без толку и теперь мстит; будь он, однако, проклят, – я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры, и так тряхну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив, таким образом, свои отношения к коврам, она поднялась наверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру, который час, сообщил, что еще не одет, попросил кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? – подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях. – Фальшивая душа, если обращаешься, словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание о еще некоторых грешках внушило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз, может быть, надо его простить».

И она, тоном насильственного оживления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается, когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

– Прекрасно, – сказал Айшер, – вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось ей легкое издевательство. Она высунула язык и, довольная тем, что акт мщения скрыт портьерой, кисло произнесла:

– Я ужасно рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить, – и вышла, твердо решив впредь держать сердце назаперти.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облаков пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в крошечную, как полевой колокольчик, рюмочку огненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

– А! – сказал он, окидывая беглым взглядом прибор. – Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите. – Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной. – Ну так помните: опрятность и чистота – лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервиз, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену», – ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прихлебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями в обольстительной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то заставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размышление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбить себя как можно скорее другой проволоке, другому уму, пакету и языку, и как, людоеду подобно, жадно глотает их Легенда, окутанная дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грянул в обстановке и при условиях, какие неизбежно явятся началом отрицания. Места, подобные цирку, не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка – вечный его удел. Есть и будут существовать явления, призрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но если они не повторятся – веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, растерзанное всевозможными толками на свои составные части, из коих самая главная – человек без крыльев под небом – станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натуре человеческой чудесах. И, может быть, лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грезы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если... – Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушки выше, – если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась горами книг, какой-нибудь растерянный, седой человек, проживший жизнь с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искать среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого, сожравшего его пропитанную потом систему „аккорда“, пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется словами: „Икс. Вне науки. Иллюзия“, – подобно досужему остроумцу, доказавшему, что Бонапарта никогда не было».

И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитары вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжело; несчастный лишен сознания.

– Быть может, простой нервный припадок, – говорил он. – Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

Глава IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

– Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла. – И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светлы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы – улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд – в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».

– Дитя, – сказал министр, усаживая ее, – я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами – хотя бы – Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

– И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.

– Да, да, – сказал он, – меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 г., изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда; Верфест не прочь от переговоров. Однако, – он взглянул на книгу, которая была с Руной, – не фея ли вы и не драгоценность ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на «ты» в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

– Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное, внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

– Нет, не «Эпитафии». – Руна мельком взглянула на свою книгу. – Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.

– Я не понимаю – что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься, – «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь «Шехерезаду». Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала:

– Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови.

– Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

– Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурчиться, что я настроена необычно. – Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выражением. – Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае, потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно – молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец ему сообщили ее волнение; он отечески нагнулся к ней, сдерживая тревогу.

– Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой.

– В таком случае, – важно сказала девушка, – что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

– Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию, – нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменивал Грею золотой свиток Вед XI столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику, – да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

– В таком случае, – Руна весело вздохнула, – «Эпитафии» вам придется забыть?

– Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?!

– Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям»; что так же, как они, или еще сильнее того манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

– Так, все ясно мне, – сказал он, – видимо, библиомания – твоё очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский» Сервантеса, Вена, 1652 года, принадлежит Дориану Кемболлу; издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем...

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

– Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? – невинно осведомилась она. – Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

– Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? – ответил он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвистой головой затаившегося оленя. – А ты достойна быть феей.

– Да, вернее – я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

– Не спорю. Дай мне его.

– Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улынулся светлой улыбке Руны.

– Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько, так некстати, окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедший все специальные издания и журналы Европы, – виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вождения библиофилов всех стран и национальностей. Все вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помещанного, гасящего воображенный огонь.

– Как? – дико закричал Дауговет. – Нострадамус – и без футляра! Но ради всех святых твоей души, – какой джинн похитил для тебя *это*? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову!

– Голову, – спокойно поправила девушка. – Вы обещали не волноваться.

– Если не потеряю рассудок, – сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом, – я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона!

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Гения, целующего Мечту, и опустил свет, затем несколько овладел чувствами.

Руна сказала:

– Все это – результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс «Трех Дорог», чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры – через посредника.

– Безумный, сумасшедший Вейс, – сказал министр, – его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе особенным действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылощенную фигуру лакея с неподвижным лицом.

– Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

– Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! Ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

– Так надо, так хорошо, – произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей, – веяние великой власти с нами, да будет оно отличено и озарено пышностью. И у меня – вы правы в своем порыве – есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

– Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком, – я стану лицом к нему, как министр и... Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

– Пусть, – сказал министр. – Поговорим за столом.

Глава X

Так начался ужин в честь короля-Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его, на белой атласной скатерти, в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, оведали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

– Дядя, – начала Руна, – прикажите удалиться слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

– Начнем, – сказал он, наливая вино, – хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр – это много; больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности нередки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все, что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но Руна показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

– Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако, беру в свидетели бога, – единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто весьма серьезное, министр внутренне отдалился, приготавливаясь рассматривать и взвешивать всесторонне.

– Я слушаю, Руна; я хочу слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

– Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и вероятно очень скоро, по мере того, как вы начнете догадываться, о чем речь, захочется перебить меня, даже *приказать* мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило, – выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

– Но, бог мой, – сказал он, – конечно, я выслушаю, что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

– Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры, – а может быть, у друга своего сердца, – о чем нам не пристало доискиваться... в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими; глазами министра.

– Эта гостиница, – продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл, – находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это Симеон Айшер, из 137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с клю-

чом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза или – согласимся в том – похищения был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым как некую скромную знаменитость всех частных агентурных контор, – его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их – это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы в половине восьмого утра и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти, – одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и, быть может, неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно – как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо – посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя, – я вижу, я понимаю ваше лицо, – ответьте мне несурово. Я еще не все сказала вам; это несказанное – о себе; я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту... Но прошло, может быть, пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, *не смея* заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

– Вы кончили?

– Да, – она слабо кивнула. – О, не смотрите на меня так...

– Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самоъявленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои соображения в деле Айшера таковы. Будьте внимательны. Суть явления непостижима: ставим X, но, быть может, самый большой с тех пор, как человек не летает. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу.

Кто он – мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов – всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру – предположительно – злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может – уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это – состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию – уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававшей ему, по крайней мере, характер восстания; короче говоря, безверие – это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они – в корне, в своей сущности – ничто, давнее Все. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу...

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все.

– ...гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо.

Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказания и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому – Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоём желании; объясни мне его.

– Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо, – он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это – вне рассудка; оно в душе и только в душе, – как иначе объяснить вам? Это – я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «Есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

– Довольно, – сказал министр, – твоё волнение искренно, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

– Боже мой! – сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его. – Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

Глава XI

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах, без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают непроизвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, донныне не обнаруженные, поразившие ее самое и легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию человек долго стоит спиной к тайно-желанному: кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти двадцать четыре часа. Она не устала; хоть лошади несли быстро, ей непрерывно хотелось привстать, податься вперед: это как бы, так ей казалось, прищипоривает движение. Она доехала в пятнадцать минут.

«Так вот – тюрьма!» Здесь, на глухой площади бродили тени собак; фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок; по сложному, мертвому гулу его казалось, что раз в тысячу лет открываются эти ворота, обитые дюймовым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон плаща, повел ее огромным двором; впереди тускло блестели окна семи этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами.

Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, по занавесям скользили тени. Руну провела горничная; видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час, она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу.

Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим *неукоснительно*, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом; из его серых глаз высматривали солдат и ребенок.

Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколько как бы вскользь, смутясь, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крякнул и ровным, густым голосом произнес:

– Мною получено приказание. Согласно ему, я должен немедленно сопровождать вас в камеру пятьдесят три. Свидание, как вам верно сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии.

– Этого я не знала. – Сраженная, Руна села, внезапно почувствовав такой прилив настойчивого отчаяния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями. – Я вас прошу разрешить мне пройти одной.

– Но я не могу, – сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений. – Я не могу, – строго повторил он.

Бледнея, девушка тихо улыбнулась.

– Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером; исчезнет весь смысл посещения. Он и я – мы знаем друг друга. Вы поняли?

Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.

– Я понял, да. – Не желая дальше распространяться об этом, из боязни перейти границы официальные, он тем не менее заглянул снова в письмо и сказал: – Вы думаете, что таким путем... – и, помолчав добавил: – Объясните, так как я не совсем понял.

Но этого было Руно довольно. Из глубокой тени двусмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачная догадка. Она вспыхнула, как мак, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней, почтительно и глубоко затаенном, презрении; ей же принесло боль и радость. Она продолжала, опуская глаза:

– Так будет лучше.

Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права; по отношению же к скупости ее объяснений остался в простоте души совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянно пожал комендант плечами, прибавила:

– Останется между нами. Положение исключительно; не большее исключение совершите вы.

Хотя письмо министра устраняло всякие подозрения, комендант еще колебался, удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма «в вашем присутствии». Его лично тяготила такая обязанность, и он подумал, что хорошо бы отделаться от навязанного ему положения, тем более что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. Нечто между нашими действиями и намерениями, подобное отводящей удар руке, оказало решительное влияние на его волю. Разно именуется эта произвольная черта: «что-то толкнуло дух момента», «сам не знаю, почему так произошло» – вот выражения, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они противу всех доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было.

Он подумал еще, еще и наконец, приняв решение, более не колебался.

– Если вы дадите мне слово... – сказал он. – Извините меня, но, как ответственное лицо, я обязан говорить так, – если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, я оставляю вас в камере на указанный письмом срок.

С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял как изумление. Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос:

– В этом я даю слово. – Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так, лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.

– В таком случае, – сказал после короткого молчания комендант, – прошу вас следовать за мной.

Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора; он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была решетчатая железная дверь; часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом; звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился, сквозь все семь этажей, узкий пролет; по этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных

камер тянулись вдоль каждой галереи; все вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных мостиках, смотрели вниз часовые. На головокругительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари; множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей.

Руна никогда раньше не бывала в тюрьме; тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске; эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной: «тюрьма». Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи; медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно: роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда; кровь стукнула, а ноги потяжелели.

– Это не так близко, – сказал комендант, – еще столько же осталось внизу, – и он подошел к повороту; открылась галерея, подобная пройденной. По ее середине крутая спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где, за аркой, в поперечном делении коридора были так называемые секретные камеры. У одной из них комендант круто остановился. Завидя его, от окна с табурета поднялся вооруженный часовой; он взял руку под козырек и отрапортовал.

– Откройте 53-й, – сказал комендант.

С суетливостью, избличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и запор. Затем он оттянул тяжелую дверь.

– Пожалуйста, – обратился комендант к Руны, пропуская ее вперед; она и он вошли, и дверь плотно закрылась.

Руна видела обстановку камеры, но не сознавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах; крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.

– Что же, меня хотят показывать любопытным? – сказал Друд, вставая и гремя цепью. – Пусть смотрят.

– Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь двадцать минут. Такова воля высшей власти.

– Вот как! Посмотрим. – Лицо Друда, смотревшего на Руны, выражало досаду. – Посмотрим, на что еще вы способны.

Комендант смутился; он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившей ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прынули подозрения.

– Я вижу, вы не узнаете меня, – значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию. – Но этот свет... – Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала. – Теперь вы узнали? Да, я – Руна Бегуэм.

Друд понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь, кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку. Камень кольца нажал его ладонь. Комендант, сухо поклонясь девушке, направился к двери; на пороге он задержался:

– Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания.

– Да, я не убегу за эти двадцать минут, – сказал Друд. – Мы понимаем друг друга.

Комендант молча посмотрел на него, крикнул и вышел. Дверь плотно закрылась.

Теперь девушка, без помехи, в двух шагах от себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели; спутанные волосы имели заspanный вид; лицо похудело. Глубоко ушли глаза; в них пряталась

ть, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа, или ходит, ворочая валами, море, или просыпается к ночной жизни пустыня. Эти глаза наваливали смотрящему впечатления, не имеющие ни имени, ни мерил. Так, может быть, смотрит кролик в глаза льва или ребенок – на лицо взрослого. Руну охватил холод, но гибкая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колоколом в оглушительной власти его вибрации.

– Глухая ночь, – сказал Друд. – Вы – здесь – по разрешению? Кто вы? Зачем?

– Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все.

– Но я вам еще не верю, – Друд покачал головой. – Все это необыкновенно. Вы слишком красивы. Быть может, мне устраивают ловушку. Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но – торопитесь говорить; я не хочу давать вам времени для тайных соображений лжи.

– Лжи нет. Я – искренна. Я хочу сделать вас снова свободным.

– Свободным, – сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь. – Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь. – Беззвучно шевеля губами, он что-то обдумывал. – Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся – в железе.

– Мне все известно.

– Внимание! Я слушаю вас!

Руна высвободила из складок платья крошечный сверток толщиной в карандаш и разорвала его. Там блестели два жала, две стальные тонкие, как стебелек, пилки – совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами.

– Их я достала случайно, почти чудом, в последний час, как выехать; лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.

Друд взял подарок, смотря на Руну так пристально, что она смутилась.

– Беру, – сказал он, – благодарю – изумлен, – и стало мне хорошо. Кто вы, чудесная гостья?

– Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера – знайте и разрастите в себе то, что не успею сказать, – прошло две ночи; они стоят столетия. Я пришла к вам, как к силе необычайной; судьба привела меня. Я – из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность... на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я – одна из сил, вызванных вами к сознанию; оно увлекает; цель еще неясна, но огромна. Может быть, также, что у вас есть цели мне неизвестные: все должно быть сказано в следующей беседе. Для многого у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное – это знать, где найти вас.

Она разгорелась – медленно, изнутри, – как облако, уступающее мгновение за мгновением блеску солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение – в позе, девственно-смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении; все тоньше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому воплощению прелестных тайн духа и тела; и Друд сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного, не встречалось ему более гармонической силы женского ликования.

Снова хотела она заговорить, но Друд остановил ее взмахом скованных рук.

– Тогда это вы, – уверенно сказал он, – вы – и никто другой, крикнули мне. Я не расслышал слов. Руна Бегуэм – женщина, несущая освобождение с такой смелостью, может потребовать за это все, даже жизнь. Хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас; эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего, – единственная помеха, но вы рассекли ее. О! Меня стерегут. Особо пристав-

ленный часовой всегда здесь, у двери, с приказом убить, если понадобится. Но – что вы задумали? Одно верно: стоит мне захотеть – а я знаю тот путь, – и человечество пошло бы все разом в страну Цветущих Лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха.

– Все сделав, узнав все, что нужно, я уйду, но не оставляю вас. Уходите. Прощайте!

– Бог благословит вас, – сказал Друд, – это вне благодарности, но в сердце моем.

Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе – связанные и разделенные цепью наручников; обе руки протянула и Руна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла.

Тут же, – как если бы они угадали срок, – дверь скрипнула и открылась; на пороге встал комендант, пряча часы:

– Время прошло, я провожу вас.

Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.

Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте – она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая, среди зданий и улиц Руна не переставала видеть тюрьму.

Глава XII

Кто бодрствует в спящем доме, сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает; переступи шаг, и ты уже отнесен несколько. «Они спят, – думает бодрствующий. – Все спят», – зевая, говорит он, и лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели, нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны; движения рассеянны; утомленное сознание бессвязно и ярко бродит – где попало и как попало: то около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее – это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты клеем; хочется задремать, перейти в то любопытное и малоисследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилении взаимного сладкого сопротивления.

Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только – слуху; если он повторится – дремота уже прозрачнее; в туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он услышит его – сомнения нет; это – стук – там или там, некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию.

Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямился, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть, больше не постучит», – отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук – легкий и ровный, обезличенный эхом; казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок – некое успокоительное подзывание, подобное киванию пальцем.

Часовой, разминаясь, подошел к двери.

– Это вы стучите? Что надо? – сурово спросил он.

Но не сразу послышался изнутри ответ; казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового, как в обычной беседе, медля заговорить.

– Часовой! – послышалось наконец, и тень улыбки померещилась часовому. – Ты не спишь? Открой дверное окошко. Как и ты, я тоже не сплю; тебе скучно; так же скучно и мне; меж тем в разговоре у нас скорее побежит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой; ты увидишь кое-что приятное для тебя.

Оторопев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос:

– Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокоите? Вы пустяки говорите. Запрещено говорить с вами. Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному.

Он умолк и насторожился. За дверью громко расхохотался узник, – казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.

– Ну, что еще? – спросил часовой.

– Ты много теряешь, братец, – сказал узник. – Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай.

И в камере зазвенело, как будто падали на кучу монет – монеты.

– Открой окошечко; за каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой. Не хочешь? Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.

Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцание; часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предостерегающе постучал в дверь ключом, крикнув:

– Эй, берегитесь! В последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги – объявите и сдайте; нельзя деньги держать в камере.

Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения; сладко заняло сердце; рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающуюся толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружа голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпочках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении.

Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза душой голос узника:

– Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству? Но как быть с полным мешком золота? И это золото – не то, не совсем то, каким ты платишь лавочнику. Им можно покупать все и везде. Вот я здесь; заперт и на цепи, как черный злодей, я – заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже трудно узнать: устлан коврами пол, огромный стол посреди; на нем – графины, бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы; на каждом стакане – тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции; алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных корзинах лежит пухлый, как заспанная щека, хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсины и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом, испанские сигары; окорок с разрезом, подобным снегу, тронутому земляничным соком; жареные куры и торт – истинное кружево из сластей, – залитый шоколадом, – но все смешано, все в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я – не один здесь. Мое золото всосало сквозь стены и посадило сюда красавиц-девушек; послушай, как звенят их гитары; вот одна звонко смеется! Ей весело – да, она подмигнула мне!

Как издали, тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит, жарко и тяжело дыша, всем сердцем перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное.

– Мать божия, помоги! – трясущимися губами шептал солдат. – Это я очарован; я, значит, пропал!

Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли; как чужие, возникли и исчезли они.

– Открой же, открой! – прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко.

В забвении часовой протянул руку, сбросил засов и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман ликующей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные, но что-то мешало ясно рассмотреть камеру, – как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны, – выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее.

– Стой, я сейчас, – сказал часовой, отмыкая дверь трясущейся рукой; но не он сказал это, а тот, кто был убит в нем колесом жизни, – воскресший мертвец – Дитя-Гигант веселой Природы.

– Это вы что делаете? – бормотал часовой, входя. – Это нельзя, я, так и быть, посижу тут; однако перестаньте бунить.

Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота; как ветер, разорвав дым, показывает за исчезновением беглых и странных форм обычную перспективу крыш, так часовой вдруг увидел пустую койку, с обрывком цепи над ней и рассвет в железной решетке: ни души; он был и стоял один.

Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друд скользнул под потолком гигантского коридора и, зигзагом огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана; он мчался, следуя разворачивающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход, выход – вверху, единственный прямой

выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движениям ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел; на пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене; вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друд, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того, как он овладевал высотой. Осколки стекла, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу; но быстрее падения стекла беглец был на высоте в двадцать раз большей.

Наконец он остановился, дыша с хрипом и болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Не много огня было там – разбросанных, мерцающих, редких; и тьма тихо ступила на них черной ногой.

Друд распилит наручники, затем кандалы и пояс; затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты!» Подарок этот, удаляясь со скоростью, возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя, как снаряд, дошел до тюрьмы и раздробил дымовую трубу.

Глава XIII

На утро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул вне себя руки. Гром раздробил тюрьму.

– Погреб Ауэрбаха, – сказал наконец министр. – Не будет веры тому; тюрьма и так – сказка для многих.

Он рассчитал верно: недоказанное не существует; невероятное, рассказанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руну, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки!

Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди бешеного движения улиц. С спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.

Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера с спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окружающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу; на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник – золотообрезанный том в рельефных крышках старого серебра и, внимательно перелистав все там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку: «17 мая 1887-го – 23 июня 1911 г. – ничего не было».

Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь – от детского лепета до страшного дня в «Солейль» – ради первого ожидания.

День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению, человек спокоен и уронил весла, но движется – и в душе прибыл уже, – куда плывет и поворачивает течение; к цели несет оно.

Как смерклось, – после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином, – лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала: «Просите» – без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.

Глава XIV

Лакей ввел коменданта.

Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он, смотря в лицо Руны, остановившись шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отпустил и сел против хозяйки. Все это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.

– Я пришел, – начал он и продолжал громче, – принести безмерную благодарность. – Комендант помолчал. – Все вышло так странно. Но о том не берусь судить. – Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами, – на мгновение; после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой. – Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь, – моя и детей моих, – спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельство. Я допустил вас к свиданию, *без меня*, согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.

– Но я не понимаю. – Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее. – Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко, – да, благодарю, вы навсегда обязали меня.

– Теперь положение изменилось. Я обязан вам, или, если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы – квиты.

Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов отсвет *своего* счастья, что снова вдохновило его.

– Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел, – но, согласитесь, – какое же это объяснение?? Верить сам происшествию не могу и, считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошелек с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась записка – вот она. – Комендант подал, дернув из обшлага небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло: «Будьте свободны и вы».

Руна прочла, вернула; ее изумление стихло, благодаря верной догадке. Комендант продолжал:

– Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.

– Это не я, – сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив. – Однако знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас все.

Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.

– Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо в глаза. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен – между нас не было тени.

Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.

– Тень была, – сказала она, – но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уж не сказать, чем сказано, – виной хорошему – вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянет тот, кто ушел так странно от вас.

Гость встал, поднес к губам нервную, душистую руку, повернулся и вышел, как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьеру, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.

Глава XV

Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала – знанием, донныне необъяснимым, что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.

Как странно лелеять что-либо еще не наступившее всей правдой души, видя и предвосхищая то в книге, говорящей о постороннем! На тайном языке написана в мгновения те книга, какая бы ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие спят неподвижно. Свое плавают по строкам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне – неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшись для чести. Как то пропадает, то слышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски откинуться, закрыв глаза, к близкому будущему, призывая его стоном сердцебиения.

Долог такой день, и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу, сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и другой; на половине же третьего вверху неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда все вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась наверх.

Из дальней двери выбегал в сумерки на озаренный ковер свет. Свет пересекала тень человека. Руна остановилась, забыв все, что хотела сказать, но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.

Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем в первый раз, чувствовала себя девушка, хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях, нам доступных, есть спасительная слепая черта, – ничего не видно за ней; туман, от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.

Друд сказал:

– Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.

Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза, – взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:

– Как я ждала, – я, не ждавшая никогда!

– И мы – вместе, – продолжал он, так как это хотела она прибавить. – Руна, я много думал о вас. Оставим не главное; *о главном* надо говорить сразу, или оно заснет, как волна, политая с корабля маслом! Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его, – с раздумьем повторил он, – потому, что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.

Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.

– Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.

И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ. В ней встало подлинное вдохновение власти – ненасытной, подобной обвалу. В забытии обратилась она к себе: «Руна! Руна!» – и, прошептав это как богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.

В этот момент вошел белый водолаз с человеческими глазами; устремив их на Друда, он потянул носом, завыл и стал, пятясь, дрожать.

Друд тихо сказал:

– Ложись. Лежи и слушай.

Тогда, словно поняв слова, великан кротко повалился на бок меж Руной и ним, свесив язык.

– Я думал о вас много и *хорошо*, – сказал Друд.

Уже по внешности обычно-спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбе, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда, во время не большее, чем разрыв волоска, все веяние и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа, – вдруг, с убедительностью близкого крика глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями, – хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:

– Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет, – она рано или поздно появится: лучше, если *теперь* вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке – будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; исступленно завоюет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут правилом бессонные ночи, а сумасшедшие в заточении своем начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть *в вас*.

Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительств не постеснялись бы раздавить вас, то после двух-трех месяцев всеобщего исступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдадут дань все люди странного уклона души, – во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.

Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение – центральную силу души. Я найду и дам деньги. Комендант знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полной светлых красок, – дворец, высокий, как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.

Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друд» будет звучать, как «воздух», «дыхание». Странники, искатели смысла жизни, мечтатели всех видов, скрытные натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы, неуравновешенные и полубезумные, нежные – с детской религией цветов и птичек, добросовестные ученые, потерпевшие от всяческих бедствий, предприниматели и авантюристы, изобретатели и прожектеры, попрошайки и нищие, – и женщины, легионы женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.

Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы с слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречащие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты в погоне за прибылью будут печатать все, – и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров, довольном, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших, – чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное.

После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишеной непрямого значения, вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая *старое* настроение.

Старое настроение говорит: «Игра и упорство». Новое настроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Меж тем в клубах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление, в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которую так давно и бездарно ловят посредством систем, заслуживающих лишь грустной улыбки.

Тогда без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог постоянное, ровное сознание разумного чуда – в лице вашем – сделает всякую власть столь шаткой, что при первом же ясно выраженном условии: «я – или они», земля скажет: «ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.

Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное – во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов – выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренне отвернулся и что ее слова отброшены ей назад, с равной им силой. Ее нервы ломались. Еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:

– Нет.

Он продолжал:

– Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите – что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустясь ночью на пароход, сижу в кают-компании, вызывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю все. Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор моего мира, и я изъясню вам весь его сложный шифр. Смотрите: там тень; ее отбрасывают угол стола, кресло и перехват портьеры, абрис условного существа человеческих очертаний, но с складкой нездешнего выражения. Уже завтра, когда тень будет забыта, одна мысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно-малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяют нас, начинают распускать лепестки, – почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем, как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупки; схороните их: «Возьми меня на руки и покажи мне все – сверху. С тобой мне будет не страшно и хорошо».

Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.

– Клянусь, – сказал Друд, – что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.

– О! – произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное, – холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.

Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.

– Смотри же, – сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна. – Смотри! – повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку. – От *этого* ты уходишь!

Они были среди пышных кустов, – так показалось Руне; на деле же – среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.

– Дурочка! – сурово сказал он. – Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!

Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немного.

– Если нет власти здесь, я буду внизу. – С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислонясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступеням террасы. Друд был внизу, смотря вслед.

– Итак? – сказал он.

Девушка обернулась.

– Все или ничего, – сказала она. – Я хочу власти.

– А я, – ответил Друд, – я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя.

Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где остановилась, сказав: «Все». Но это все было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.

Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача с неподвижным лицом, – медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке, – девушка написала министру несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радушия. И там значилось, в последней строке:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это – мечтатель».

Глава XVI

Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились – меж ними была целая жизнь.

Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд, или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы. Внизу, среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспыхивая зеленой пеной, текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.

Если есть боль, зрелище, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулась и ныла, как спина носильщика под еле посильным грузом; он страдал, поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.

Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.

– А! – сказал он. – Вы встали!

Друд обернулся, встретив грустными глазами своего товарища детских игр.

– Ты печален, болен, быть может? – сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой. – Ну потолкуем, как раньше.

– Как раньше? – повторил Стеббс с горестным ударением. – Раньше я садился и слушал, удивлялся, хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, расписанной после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать. – Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.

Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.

– Стеббс, – сказал он, – с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуту. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.

Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волосы веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира; разорванные штаны, из-под которых едва виднелись рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол. Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы; тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале, – из тех, что подведи к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.

– Итак: трубку мира...

– Где она? – Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения. – Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?

– Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом. Стой: не тронь спичек. Что это за книга? В углу?

– Это, – сказал Стеббс, – книжечка довольно серьезная; она сама упала туда.

Друд взял книгу.

– «Искусство как форма общественного движения», – громко прочел он и выдрал из сочинения пук страниц, приговаривая: – Книги этого рода хороши для всего, кроме своей прямой цели, – затем закурил текстом. Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже с счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.

– Приходил прокурор, – сказал Друд, смотря в огонь. – Он волновался; задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была... – Друд выпустил сложный клуб дыма. – В общем, маяк все-таки хорош, Стеббс, но я завтра уйду.

– Опять, – печально заметил сторож.

– Есть причины, почему я должен развлечься. Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.

– Воображаю! – сказал Стеббс. – Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но, как вспомню, кто вы, подо мной словно загорится стул.

Друд сдвинул брови, улыбку спрятал в усы.

– Солнце не удивляет тебя? – спросил он *очень* серьезно. – А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я», – прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря, – тогда ты глупо и самодовольно спокоен?

– Ну ладно, – возразил Стеббс. – А вот что скажите: не полюбили ли вы?

Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его пронизательность.

– Едва ли... – пробормотал он, толкая ногой полено. – Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?

– Все! – с ужасом прошептал Стеббс. – Кофе готов.

– Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?

– Нет, – сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чугунного памятника, простирающим вещью руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо по бочке. – Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче; есть прямо – не скажу: гениальные, но замечательные строки.

Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по несколько раз в день), с уверенностью, что Друд дразнит его, – так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства, – как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзаясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.

– Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?

– Представь – да, – смеясь, кивнул Друд, – да и как можно скорее.

С довольным видом Стеббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал: «Ну это не отделано...», «в первоначальной редакции», «здесь – недурно», – и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец он остановился на рукописи, пестрой от клякс.

– Слушайте! – сказал Стеббс.

– Слушаю! – сказал Друд.

Сторож заголосил нараспев:

В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.

Там – Ад. Там горят свечи
Из человеческого жира;
Живуча там память о встрече

С существом из другого мира.

На моей рыдающей лире
Депешу с берегов Стикса
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Икса.

Гремя подземным раскатом,
Демон...

– Теперь, – сказал Друд, – почитай другое.

Стеббс послушно остановился.

– Знаю, – кротко заметил он, – вам эта форма не нравится, а только теперь все пишут так. Какое же ваше впечатление?

– Никакого.

– Как? Совсем никакого впечатления?

– Да, то есть – в том смысле, какого ты жаждешь. Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить – это ведь – разделять, вводя свое в массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не выну Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал все моей души, подобное этому стремительному гордому образу, хотя бы это все заключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзаже, настроении или сне, – лишь бы подобно было цыганке Кармен качеством впечатления. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь мраморные, – другие, – сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет, потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни в рассеченной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем.

Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла, – *для тебя*, Стеббс, если бумага – не живой, нежный и чистый друг, – тоже *для тебя*, Стеббс, если нет мысли, что все задуманное и исполненное могло бы быть еще стократ совершеннее, чем теперь, – ты можешь заснуть, и сном твоим будет *простая* жизнь, творчество божественных сил. А ты скажешь Ему: «Под складкой платья твоего пройду и умру; спасибо за все».

Довольно мне сечь тебя. Запомни: «депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писаря прачкам. «Живуча» – говорят о кошках. Кроме того, все, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.

Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.

Друд поинтересовался – не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на пылкое сердце поэта.

– Вы угадали, – сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз, – я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.

– Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня: когда здесь, в этом скворечнике, появится улыбающееся женское лицо, оно, с полным пренебрежением к гениальности, отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы, и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло. Вот что хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.

Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.

– Женщина губит творчество, – пробормотал он, – эти создания – они вас заберут в руки и слопают. – Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорили о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы; затем простер руку. – Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом справляет свое новоселье. О, если бы...

– Стой! – сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу; фыркнули листы огромной тетради Стеббса, и что-то, подобно звуку стихающего камертона, пропело в углу.

– Что так нежно и тонко звенит там? – спросил Друд. – Не арфу ли потерял Эол?

Стеббс сказал:

– Сначала я объясню, потом покажу. В долгие ночные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот посмотрите, зрите: се – роаяль Стеббса.

Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволочках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, сторож черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот средний меж смехом и завыванием звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать.

– Что же вам сыграть? – сказал Стеббс, выделявая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-до-дон». Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка. – Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати – двадцати вещей; мои любимые мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например: вальс «Душистый цветок».

– Попробуем «Фанданго», – сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом с трубкой в зубах. – Начинай, я же буду насвистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.

Перебрасывая палочку среди запевших бутылок быстрой неутомимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.

– Попробуем что-либо другое. – Друд стал свистать тихо, прислушиваясь. – Вот это... – и оно так же звенит в оркестре.

– Посвистите еще, – Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив. – Ага! На средний регистр.

Он прозвенел палочкой; Друд взял тон, увлеченно насвистывая; то был электризирующий свист гибкого и мягкого тембра. Свистал он великолепно. Стеббс был тоже в ударе. Они играли вальс из «Фауста». Прошла тихая тень Маргариты; ей вслед задумчиво, жестоко и нежно улыбнулся молодой человек в пышном костюме с старой и тщеславной душой.

– А это славно, это хорошо! – вскричал Стеббс, когда они кончили. – Теперь закурим. Что следующее?

Смеясь, болтая и тревожась, как бы Друд не вернулся из тихой страны звона к мрачной рассеянности, он торопливо наигрывал, поддерживая в нем детское желание продолжать спасительную забаву. Так, переходя от одной вещи к другой, затеяли и разыграли они песенку «Бен-Бельт», которую поет Трильби у Дюмурье; «Далеко, далеко до Типерери»; «Южный Крест»; второй вальс Годара; «Старый фрак Беранже» и «Санта-Лючия».

Меж тем стало светать; первое усилие дня, намечающего свой путь в бурной громаде ночи, окружило желтое пятно лампы серым утренним беспорядком; уже видны были в окно волны и пена. Ветер стихал.

Друд как бы очнулся. Печально посмотрел он вокруг и встал:

– Ну, Стеббс, еще раз, перед тем как расстаться, – «Санта-Лючия».

Стеббс вытер глаза; стекло стало вызванивать:

Ясными звездами море сияет,
Вдаль веет ветер, вглубь увлекает;
К лодкам спешите все – в ночи такие.
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Друд тихо свистал. Уже видел он и то, что сказано во втором куплете:

Море чуть зыблется. Здесь, на просторе,
Как рыбаки, вы все сбросите горе,
И да покинут вас скорби людские...
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Он *видел* это, и тише становилось в его душе. Когда кончили, хлопнув по плечу Стеббса, Друд сказал:

– Спасибо! Ночь была хороша; сделали мы и хорошую минуту. Прощай!

Затем он оделся, как одеваются для ветра и холода: сапоги, толстая куртка и шапка с ремнем, проходящим под подбородком. Стеббс, без нужды в том, усердно помогал одеваться; он был совершенно расстроен.

Наконец заря вышла из облаков, рассеяв стальной, белый и алый оттенки на проясневшей воде. Друд подошел к окну. Тогда, плача откровенно и горько, как маленький, Стеббс ухватился за него, оттягивая назад.

– Хотите, я сожгу все тетрадки, если вы останетесь еще на *один* день? Клянусь, я сделаю это!

Друд, смеясь, обнял его.

– Зачем же, – мягко сказал он. – Нет, Стеббс, я был не совсем прав; играй, стихи – твоя игра. Каждый человек должен играть. – Он двинулся в пустоту, но вернулся, хлопая себя по карману. – Я забыл спички.

Стеббс подал коробку.

– Жди, я вернусь, – сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом, – усилие, относительно которого никогда не мог бы точно сказать, как это удастся ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. По мере того как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма, Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой имеющий всегда дело с тяжестью ум человека не может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций, среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону восходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей. И в тех белых массах исчез Друд.

Часть вторая Улетающий звон

Глава I

Весной следующего года в газетной прессе появились удивительные и странные сообщения. Эти сообщения разрабатывали одно и то же явление, и будь репутация шестой державы немного почтеннее, чем та, какой она пользуется в глазах остальных пяти великих держав света, – факты, рассказанные ее страницами, наверное, возбудили бы интерес чрезмерный. Не было сомнения, что эту сенсацию постигнет обычная судьба двухголовых детей или открытия, как превращать свинец в золото, – что время от времени подается в виде свежего кушанья. Казалось, сами редакторы, тонко изучившие душу читателя, рассматривают монстральный материал свой не выше «Переplatия Ниагары в бочонке» или «Воскресения замураванной христианки времен Калигулы», печатая его в сборных отделах, с заголовком: «Человек-загадка», «Чудо или галлюцинация», «Невероятное происшествие» и с другими, более или менее снимающими ответственность ярлыками, чем как бы хотели сказать: «Вот, мы умываем руки: кушайте, что дают».

Однако, как сказал некто Э. Б., – «не у всех рыжих одинаковая судьба», и это изречение кстати упомянуть здесь. Десять, пятнадцать, двадцать раз изумлялся читатель, пробегая в разных углах мира строки о неуследимом фантоме, явившемся кому-то из тех, кого не встретили мы, не встретим, и чьи имена – нам – звук слов напрасных; ничего не изменило, не сдвинуло в его жизни им прочитанное и наконец было забыто, только иногда вспоминал он, как тронулась в нем случайным прикосновением редкая струна, какой он не подозревал сам. Что был это за звук? Как ни напрягается память, в тоскливейшем из капризов Причудливого – в глухом мраке снует мысль, бестолково бьется ее челнок, рвется основа, путая узел на узел. Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот – и тоска.

Но перебросим мост от нас *к тому* печатному тексту. Литература *фактов* вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности, то же, что глухому оркестру: взад-вперед ходит смычок, надувается щека возле медной трубы, скачет барабанная палка, но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их. Примем в возражение факты, сущность которых так разительна, что мясо и дух события, иначе говоря – очевидство и проникновение в суть факта, не много прибавят к впечатлению, полученному путем сообщения. Действительно *такой* факт возможен. Например, провались в Чикаго двадцатидвухэтажный дом, мы, поставленные о том в известность, внутренне подскочим, хотя скоро уже не будем думать об этом. Что это – так, что факты как факты, даже пропитанные удушливой смолой публицистических и партийных костров, никоим образом не смущают ни жизнь, ни мысль нашу, достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем держали в руках не что иное, как трепет, борьбу и жизнь всего мира, предьявленные на манер ресторанного счета.

В этой тираде нашей тщетно было бы искать реформационных потуг или требований безмерных к кому бы то и к чему бы то ни было. Мы просто отмечаем пустоту, куда не хотим идти. Как, в самом деле, перечислять, где, когда и кто смутился и испугался, кто, может быть, близорук, а кто – склонен к галлюцинациям на почве неясных слухов?

Как устанавливать и решать, где проходит идеально прямая черта действительного события? Вообще, поиски такого рода – дело специалистов. Однако, поступив проще, представив себя – в лице многих тех N. и С. – в положении выезжающего сразу из шести ворот Сен-

Жермена, можно среди зигзагов и конусов странной корреспонденции увидеть нечто, равное всему общему разбросанного и сборного впечатления; для этого нужно лишь сказать «я». Я иду где-то, замечая тень или человека, скользящего высоко вверх, во всей странности подобного лицезрения; иные формы, иные положения той же встречи смутно выделяются одна из другой в графитовом полусвете сна; и я не знаю – мое ли яркое представление о том вводит всю муть в формы отчетливых сцен, было ли то мне рассказано или случилось со мной. Быть может, интереснее всего некоторые ошибки, возникшие под влиянием слухов о существе, не знающем расстояния.

Тот трубочист, которому выпало на долю заразить суеверным страхом нервных прохожих, будет, надо думать, до конца дней помнить захватывающее и глубокое впечатление, произведенное его дымной фигурой на фоне лилового вечернего неба. Он опомнился, когда увидел внизу огромную черную лужу толпы; постепенно смутный хор ее гула разросся в потрясающее смятение, и враг сажи спустился по требованию полиции с крыши шестиэтажного дома вниз, где немедленно стал причиной разочарования, насмешек и оскорблений. Быть может, среди этой толпы был и тот мальчик, фигурный китайский змей которого, дико урча трещоткой над башней ратуши в Эльте, привлек воспламененное внимание охотника Бурико, сразу поклявшегося, что убьет черта двойным зарядом из своей льежской двустволки, опустив предварительно поверх картечных зарядов иглы ежа. Этой клятвы никто не слышал, но два оглушительных выстрела слышали посетители соседней кофейной, с интересом следившие за тем, как, потеряв бечеву, пересеченную дробинкой, змей повертывался и нырял, подобно игровой карте, над острой крышей сумеречной Эльтской ратуши. То было под вечер, так что никто не видел естественной краски стыда в полном лице грозного Бурико, после того как ему было растолковано его заблуждение. В другом случае задрожал и долго читал молитвы крестьянин, шедший с котомкой на плечах по луговой тропе в окрестностях Нового Рима. Было утро, и над травой летел человек. Трава скрывала велосипед, поэтому крестьянин отшатнулся и ахнул. Вокруг него было так тихо, так много цветов, и так резко промчался неслышный в движении своем человек.

Теперь время упомянуть о том, что за девушкой, севшей в одном из скверов Лисса с книгой в руках, а скромную поклажу свою поместившей на траве рядом, – задумавшись, наблюдал человек особой – отдельной от всех – жизни. Он смотрел на это молодое существо так, что она не могла видеть его, не могла даже подозревать о его присутствии. Она только что приехала. С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петель своей сети, вникал он во все мелочи впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним человек, ступивший, не зная о том, в опасный глухой круг. Над хрусталем взвился молоток. И он подошел к ней.

Глава II

Девушка, о которой зашла речь, прибыла в Лисс с ночным поездом. Ей было девятнадцать лет – почти полных, так как девятнадцать ровно должно было прийти на другой день, в десять часов вечера. Не без сожаления вспоминала она об этом: в беспечных условиях день ее рождения мог быть отмечен сладким пирогом и веселым домоседством среди подобных ей девчокообразных подруг с нетерпеливыми и пылкими головами. Между тем на ее объявление в «Лисской газете» последовало письмо Торпа, предлагающее место компаньонки и чтицы.

Париж стоит обедни. Газета ошиблась, тиснув скромное объявление по разряду смеси, что, в свою очередь, заставило ошибиться Торпа. «Как вас зовут?» – спросил юную путешественницу на вокзале приветливый, лысый человек преждевременной дряблости, с вздрагивающей ногой, заинтересованный ее манерой посматривать на маленькие свои ножки в лаковых туфельках, недавно купленных из последнего, – выше хлеба и зрелищ девушка ценила хорошенькую, стройную обувь. «Тави», – сказала она простосердечно, краснея тем тонким и обаятельно чистым румянцем, какой не продается под золотой пломбой, ни вызывается искусственным душевным движением. «А ваша фамилия?» Полумесяцем вознес левую бровь, девушка взглянула на него с сердцем, выпалив «Тум» так, что оно прозвучало, как «Бум», – стальным тоном ясного желания прекратить разговор. «Тра-та-та!» – напевал франт, удаляясь с высоко закинутой головой, а Тави Тум – порешим звать ее просто «Тави» – села ожидать рассвета на мраморную скамью. Закусывая ветчиной с хлебом, читала она «Двух Диан»; к ней подходили комиссионеры, предлагая гостиницы, но, не видя в том надобности, так как уже этим утром должна была поселиться у Торпа, Тави оставалась сидеть среди гула и толпы вокзального здания.

Меж тем один за другим прибывали утренние поезда; волнуясь и перекликаясь, путешественники неслись шумным водоворотом; гром экипажей, свистки, звук посуды, разносимой буфетной прислугой, и лязг вагонных сцеплений проникали в высоту сводов отлетающим эхом. Когда Монгомери ухватил нижний конец веревочной лестницы, ведущей на форт Калэ,¹ шум вокзала назойливо покрыл решительное его дыхание; Тави закрыла книгу, вздохнула и осмотрелась.

Застоявшись благодаря туману в недрах ночи, утро осилило наконец мрак. Электрический свет еще распространял свою вездесущую машинную желтизну, но к его застывшему блеску примешивался уже день, отсвечивая на полу и лицах свежим пятном. За окнами из паровоза хлестал пар, рассеиваясь по крышам станционных строений; на сером стекле синие облака и зеленая полоса раннего неба окутывали восход, готовый двинуться над просыпавшимся Лиссом.

Город просыпался, но Тави отчаянно зевала; усталость и улегшееся уже возбуждение приезда обернулись сонливостью. Стараясь очнуться, решила она пройтись по улицам. Как было ей все равно, куда идти, она пошла прямо и скоро заметила небольшой сквер. Здесь, среди дубов, овеивавших лицо сыростью едва пошевеленной листвы, ее душа прояснилась; но не утомительный труд, не жестокую зависимость видела она впереди, а веселую семью, открытый щедрый дом, где как подруга или желанная гостья она будет жить, делая все посильное охотно и беззаботно. Так мечтая, торопилась она опередить время. Ей предстояло три часа в день читать Самуилу Торпу. Его письмо, подробно перечислявшее весьма выгодные условия найма, ничего не говорило о том, почему Торп не любит или не может читать сам; для Тави, любившей книги так, что она их целовала или отшвыривала, сердясь, как на человека, – невозможно было понять странное удовольствие слышать чтение из вторых рук, с чужой интонацией и в

¹ А. Дюма. Две Дианы. (Прим. автора.)

определенные часы, как служба или работа. Устав думать о том, Тави хмыкнула, возвращаясь к Монгомери.

Каково лезть на высоту восьмидесяти футов, ночью, по веревочной лестнице, не зная, ждет сверху дружеская рука или удар? Вся трепеща, взбиралась Тави с отважным графом, раскачиваясь и ударяясь о стену форта Калэ. Это происходило бурной ночью, но сквер дымился и сквозил солнечным светом; на верху форта гремели мечи, а по аллее скакали воробьи, самозабвенно треща о всем, что светилося и грело вокруг; потянул теплый ветер; на песке затрепетала тень листьев, и стало невозможно читать; забота о наступающем взяла верх.

В то время как она, сложив книгу, встала, осматриваясь, не увидит ли где открывающиеся двери кафе, к ней подошел человек, смотря так прямо и пристально, что она отступила, но тотчас признала в нем пассажира, севшего ночью на неизвестной станции. Запомнив его лицо, она ничем не отличила его тогда от других сонных фигур, дремавших, облокотясь на саквояж или стоя в проходе, разговаривавших вполголоса у окна, в дыму сигар. С уверенностью она могла лишь сказать, что он ехал в одном с нею вагоне. С живостью, отличавшей все ее решения и постановления, тотчас нашла она, что неизвестный – вылитый портрет графа Монгомери, и хотя костюм той эпохи и запыленное дорожное пальто неизвестного противоречили ее впечатлению, было ей все же приятно улыбнуться открыто хотя кому-нибудь в чужом городе. Хотя Тави недавно перестала быть девочкой, она знала, как бывает хорошо улыбнуться или сказать что-нибудь с легким чувством, мимолетно, без задней мысли и связи с чем бы то ни было.

– Я вас узнала, узнала, – сказала она, подав руку, – кажется, вы сидели наискосок. Так мрачно. Сам с собой. Что хорошенького?

– Утром хорошо все, – сказал незнакомец. Тави удивилась богатству выражений его лица; они мгновенно, плавно меняясь, располагали внимать и вслушиваться; слова как бы приобретали цвет, форму и тождество с выраженными с помощью их явлениями. Ей стало ясно, что «утром хорошо все», и она рассмеялась. – Мое имя – Вениамин Крукс. Не бесцельно я подошел к вам. Вы, по-видимому, здесь одиноки, поэтому я хочу знать, где и у кого вы остановитесь, чтобы быть полезным вам, чем могу. Устроив дела, я тотчас сообщу вам свой адрес. Что бы ни случилось, – я говорю о черных часах, – смело обратитесь ко мне.

Все это Крукс выразил без малейшего замешательства, неторопливо и покойно, как дома. Тави ждала, не прибавит ли он естественного в таком случае извинения; не назовет ли сам свое предложение навязчивостью, однако Вениамин Крукс молчал, ожидая ответа, так непринужденно, что девушка поспешно сказала:

– Ну да. То есть, – я не знаю что... Разумеется, я вас благодарю, тронута и... еще что? Я все спутала. Меня наняли к Торпу. Самуил Торп живет на улице Виз, 7; я у него должна жить и читать. Извините, что вас задерживаю, но надо же поговорить по душам, раз уж так вышло. Он вызвал меня по объявлению. Не хотелось мне, скажу откровенно, ехать вчера, так как завтра... гм... день моего рождения, если позволите. В этот день я родилась. Между тем были присланы на дорогу деньги. А я – как бы это вам выразить, – праздничку вот как рада, если есть деньги, не пожалею. Поэтому на что я могла бы ехать после рождения? Таков мой характер. Увы! Почему вы смеетесь?

– О, нет, – медленно проговорил Крукс, – я только улыбнулся воспоминанию. Однажды мне подарили стайку колибри – в белой алюминиевой клетке, полной зелени. Я выпускал их. Эти птички должны быть вам известны по рисункам и книгам. Итак, я выпускал их, смотря, как над современной улицей, с ее треском кофейной мельницы и светом доменной печи, взлетали ночью эти порхающие драгоценности – маленькие, как феи цветов.

– Неподражаемо! – вскричала Тави. – А слетались они потом к вам?

– Я сзывал их звуком особого свистка, короткой трелью; слышав сигнал, они возвращались немедленно.

Девушка воодушевилась:

– Вот тоже, – восковые лебеди, пустые внутри, любят, если поводишь магнетизированной палочкой, – они плывут и расходятся, как живые. Это было давно. Мне кто-то подарил их. Я очень любила, бывало, водить палочкой.

Она внутренне поникла, взгрустнув тем уголке души, который следит за нами в прошлом и настоящем.

– Н-да-с, старость не радость, так-то, господин Крукс, а впрочем, все образуется.

– Непременно, – подтвердил он, – желаю вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша.

– Тави Тум не поет, – сказала, краснея и улыбаясь, девушка. – Тави Тум может только напевать про себя.

– Но слышно многим. Идите и не оглядывайтесь.

Тави с недоумением покорно повернулась и отошла, кипя желанием оглянуться; хотя стыдно было ей выказать любопытство, но странно произнес Крукс эти слова, – что он хотел сказать? «Не могу», – простонала Тави – и обернулась.

За решеткой сквера слились тени, белые стены, блеск стекол. Она увидела смутное очертание экипажа коней; к экипажу подошел Крукс, сел и сказал что-то рукой. Нельзя было рассмотреть ни его лица, ни темного кучера – сцена эта явилась как бы сквозь задымленное стекло. «Лучи солнца прямо в глаза», – подумала Тави; тогда лошади побежали все быстрее, колеса завертели, растаяли; растаял экипаж, Крукс; все исчезло, как бы уничтоженное собственным движением на одном месте, и за решеткой ветерок метнул пыль.

– Это я сплю среди белого дня, – сказала Тави, оторопев и протирая глаза. – Конечно! Глаза уже слиплись. Он ушел, и более ничего. Но как простенько хорошо может быть от пустякового разговора.

С чувством, что только что была в теплой руке, девушка услышала стук засовов – то против сквера открылось кафе. Толкнув его дверь, девушка перескочила через полосу сора, подметавшегося сонной прислугой, заняла столик и стала пить чай, просматривая газеты. Она так устала, что просидела здесь в сладком оцепенении больше часа, затем вышла, медленно переходя от витрины к витрине и рассматривая с огромным удовольствием выставленные там вещи, чем самозабвенно увлеклась, и, лишь увидев часы с стрелками, готовыми ущемить цифру «одиннадцать», встрепенулась, взяла извозчика и поехала к Торпу.

Глава III

Не раз задумывались мы над вопросом – можно ли назвать мыслями сверкающую душевную вибрацию, которая переполняет юное существо в серьезный момент жизни? Перелет настроений, волнение и глухая песня судьбы, причем среди мелодии этой – совершенно отчетливые мысли подобны блеску лучей на зыби речной, – вот, может быть, более или менее истинный характер внутренней сферы, заглядывая в которую шурился ослепленный глаз. Отсюда не труден переход к улице, на которую, окончив путь, свернул извозчик, – к сверкающей перспективе садов среди чугунных оград; эмаль, бронза и серебро сплели в них затейливый арабеск; против аллей, ведущих от ворот к белым и красноватым подъездам, полным зеркального стекла, сияли мраморные фасады, подобные невозмутимой скале. Этот мир еще спал, но утренний огонь неба среди пышных цветов уже сторожил позднее пробуждение.

Осматриваясь, Тави трепетала, как на экзамене. Видя, что окружает ее, скрылась она в самую глубину себя, подавленная робостью и досадой на робость. Она не могла быть *гостьей* среди этих роскошных гнезд, но лишь существом мира, чуждого великолепным решеткам, охраняющим сияющие сады; они были выведены, чтобы отделить ее жизнь от замкнутой в садах жизни красивой чертой. Это впечатление было сильно и тяжело.

Извозчик остановился, путь окончен. Звоня у ворот, Тави рассматривала сквозь их кованые железные листья в тени подъездной аллеи мавританский портик и вазы с острями агав. Прошло очень немного времени, – казалось, только лишь опустилась ее рука, тронувшая звонок, – как из-за угла здания выскочил человек в лакейской куртке, направляясь бегом к воротам. Он стал возиться с замком, спрашивая:

– Из бюро? От какой конторы?

Пропустив Тави, тупо воззрился он на чемодан и коробку.

– А для чего вещи?

Девушка заметила, что его что-то смущает, что-то вертится на языке; взглянув на нее внимательнее, слуга решительно ухмыльнулся...

– Впрочем, – сказал он, беря багаж девушки, но загораживая ей дорогу, – если хотите получить заказ, нужно заплатить мне, а не то родственники обратятся в другое место.

– Вы думаете, что я шью платья? – гневно спросила Тави, раздраженная бестолковой встречей. – Я приехала служить в этот дом *читательницей* господину Торпу.

– Чтица? – сказал лакей, подперев бок рукой, которой держал саквояж. – Так бы вы и сказали.

– Ну да, *читательницей*, – поправила девушка, чувствуя к слову «чтица» серое отвращение. «Оно обстрижено», – успела она подумать, – затем, вслух: – Несите и скажите, что я приехала, приехала Тави Тум.

– Господин Торп, – сказал лакей тоном официальной скорби, – божьей волей скончался сегодня утром, в семь с четвертью, скоропостижно. Он умер.

Девушка, отбежав, закрыла лицо, потом, опасливо вытянувшись и спрятав назад руки, как в игре, где могут поймать, уставилась на лакея взглядом ошеломления.

– Вы говорите, он умер? То есть – скончался?

– И умер и скончался, – равнодушно ответил лакей. – *Аорта*. У нас знают, что вы приедете. Я провожу вас.

Он кивнул к дому, приглашая идти. Не печаль, не страх стеснили легкое дыхание девушки и не сожаление о блестящем заработке, так неудержимо рухнувшем в пустоту, откуда он щедро сверкнул, но красноречие совпадения – этот всегда яркий взволнованному уму звон спутанных голосов. Смятение и шум наполнили сердце Тави. Смотри на убегающий свой чемодан, шла она за лакеем так неровно, как, путаясь в густом хмеле, идет по заросли человек,

разыскивая тропинку. Лакей приостановился, напряженно ожидая девушку глазами, сузившимися от умильной надежды. Как Тави догнала его, он шепнул:

– Барышня, есть у вас какая-нибудь мелкая монета, самая мелкая?

Тупо взглянув, Тави погрузила руку в карман; схватив там, вместе с ореховой скорлупой, серебряную мелочь, она мрачно сунула монеты лакею.

– Очень вам благодарен, – сказал тот. – Вы думаете, это на чай? Ффи. – Как по ее лицу было видно, что она действительно так думает, лакей, помедлив, добавил: – Это – на счастье. Я вижу, вы счастливая, потому и спросил. Теперь я пойду в клуб и без промаха замечу банк.

– Я? Счастливая? – Но было нечто во взгляде лакея, подсказавшее ей не допытываться смысла подарка. После этого шествие окончилось при взаимном молчании; мелькнуло несколько мужских и женских фигур – стены и лестницы, переходы и коридоры; наконец Тави смогла сесть и сосредоточиться.

Глава IV

Прежде всего вспомнила она, что среди взглядов, рассеянных на пути к этому синему с золотыми цветами креслу, мелькнули взгляды странного выражения, полные мнимо-равнодушной улыбки. Два-три человека холодно осмотрели ее, как бы прицениваясь ко всему ее существу, – быть может, из любопытства, быть может, лишь показалось ей, что их взгляды терпки по-уличному, – но ее чуткий духовный мир обнесло тончайшей паутиной двусмысленности. Как было ей сказано, что через некоторое время выйдет к ней хозяйка-вдова, Тави не много думала о взглядах и впечатлениях, строя и кружа мысли вокруг трагического события. Прикладывая вдруг остывшие руки ледяным тылом кистей к пылающему лицу, она вздрагивала и вздыхала. Ее оставили сидеть в одной из проходных зал, с высокими сквозными дверями; лучистые окна, открывающие среди ярких теней трогательную небеса пышную красоту сада, озаряли и томили нервно-напряженную девушку; в строгом просторе залы плыли лучи, касаясь стен дрожащим пятном. «Смерть!» Тави задумалась над ее опустошающей силой; боясь погрузиться в кресло, как будто его покойный провал был близок к страшной потере дома, сидела она на краю, удерживаясь руками за валики и хмурясь своему пугливому отражению в дали зеркального просвета, обнесенного массивной резьбой.

Тогда из дверей, на которые стала она посматривать с нетерпением, вышла черноволосая женщина сорока – сорока пяти лет. Она была пряма, высока и угловато-худая; ее фигура укладывалась в несколько резких линий, стремительных, как напряжение черного блеска глаз, стирающих все остальное лицо. Сухой разрез тонких губ, сжатых непримиримо и страстно, тяжело трогал сердце. Черное платье, стянутое под подбородком и у кистей узором тесьмы, при солнце, сеющем по коврам безмятежный дымок цветных отражений, напоминало обугленный ствол среди цветов и лучей.

– Так вы приехали? – громко сказала вдова, бесцеремонно оглянув девушку. – Вы приехали, конечно, в приятных расчетах на... удобное место. – Перерыв фразы, самый тон перерыва, уже испугал Тави, в нем блеснул злой, страстный удар. – Никто не ожидал, что он умрет, – продолжала вдова, – вероятно, вы менее всех ждали этого. Вы разве не слышали звонка? Нет? – Она холодно улыбнулась. – Не поспешили? Прислуга вошла, закричала: он лежал на полу, раскинувшись, с рукой у воротника. Готов! У вас есть семья? сестры? братья? Может быть, у вас есть жених? Но, милая, как вас зовут?

Тави силилась говорить, спазма удерживала ее; наконец собственное имя заикающимся лепетом вырвалось из ее побледневших губ. По мере того как вдова, тягостно улыбаясь, пристально наблюдала приезжую, девушке становилось все хуже; уже слезы, неизменные спутники горьких минут – слезы и смех часто выражали всю Тави, – уже слезы обиженно попросились к ней на глаза, а лицо стало по-детски огорчаться и кукситься, – но женщина движением инстинкта поймала некое указание. Она хмуро вздохнула; не сочувствие – горькая рассеянность, занятая вдали темной мыслью, отразилась в ее лице, когда, взяв девушку за дрогнувшую руку, она заговорила опять.

– Довольны ли вы тем, что случилось? Понимаете ли, что перед вами одной встала эта стена? Вы родились под счастливой звездой. Может быть, умерший слышит меня, тем лучше. Я устала от ненависти. Скоро наступит час, когда отдохну и я. Десять лет мучений и ненависти, десять лет страха и отвращения – разве не заслужила я отдыха? Говорят, смерть примиряет, – как понять это, если сердце в злом торжестве радо смерти? Я ненавижу его, даже теперь.

Говоря так, она смотрела в окно, то притягивая руку Тави, то отталкивая, но не выпуская из жестких, горячих пальцев, как бы в борьбе меж гневом и лаской; казалось, потрясение рокового утра колыхнуло все чувства прошлого, оживив их кратким огнем.

– Не бойтесь, – сказала она, видя, что Тави мучается и дрожит, – о ненависти в день смерти вам не приходилось слышать еще, но я должна говорить с вами так; может быть, я должна сказать больше. Не знаю, чем тронули вы меня, но я вас прощаю. Да, прощаю! – крикнула она, заметив, как потемнели глаза Тави. – Вы гневаетесь, думая, что я не имею права, повода прощать вас, что первый раз мы видим друг друга. А знаете ли вы, что можно прощать дереву, камню, погоде, землетрясению, что можно прощать толпе, жизни? Простите меня и вы. Счастливому простить легче.

Задыхаясь, девушка вырвала руку, топнув ногой. Слезы и обида душили ее.

– Зачем я приехала? Зачем звали меня сюда? Что я сделала? Разве я виновата, что Торп умер? Объясните, я ничего, ничего не понимаю. Уже второй раз слышу я сегодня, что я счастливая, и это мне так обидно, так горько... – Она заплакала, смачивая слезами платок, отдышалась и, вытерев глаза, засмеялась с виноватым лицом. – Теперь я вас слушаю. Только мне надо говорить по порядку, иначе я спутаюсь.

Рука вдовы легла на ее голову, поправив трогаящий глаза локон.

– В том возрасте, в каком теперь вы, меня сломали, – она сжала лист пальмы, вытянув его изуродованное перо с легкой улыбкой, – так, как я сломала это растение; лист завянет, пожелтеет, но не умрет; не умерла и я. Потом... я видела, как ломают другие листья. Идите за мной.

Глава V

Взяв Тави за руку, как будто эта случайная близость поддерживала ее решение, она прошла весь нижний этаж к лестнице и подняла голову.

– Там кабинет мужа, – сказала вдова, – там вы должны были исполнять ваши обязанности.

Они взошли по лестнице к темной резной двери. Не сразу открыла ее вдова; прежде чем совершить это, еще раз пристально в глубину глубин глаз Тави заглянула она, как бы с сомнением и упрямством; на момент мстительная черта легла в ее потемневшем лице и, опасно сверкнув, исчезла. Не раз уже по пути заговаривала она сама с собой; теперь Тави услышала: «Господи боже, помоги мне и научи не сказать лишнего». Как ни странно, молитвенный шепот этот решительно испугал Тави; она уже повернулась с желанием проворно сбежать вниз, но устыдилась. «Катриона была куда смелее меня, – сказала она, вспоминая чудесный роман автора „Новых Арабских ночей“, – и нисколько не старше. Чего же боюсь я? Эта женщина пострадала; наверное, жизнь ее была сплошным горем. Она расстроена, ничего более».

И в такт последнего слова Тави храбро перешагнула порог, несколько разочарованная тем, что вместо кладовой Синей Бороды или чего-нибудь отвечающего ее сердцебиению – увидела всего лишь *очень* роскошную и *очень* большую комнату, дальние предметы которой, благодаря светлой и глубокой перспективе, казались видимыми через уменьшительные стекла бинокля.

– Здесь я оставлю вас, – сказала вдова, – а вы осмотритесь. Вот шкапы, в них книги – любимое и постоянное чтение моего покойного мужа. Что-нибудь вы поймете во всем этом и, когда надумаете уйти, дайте звонок. Я тотчас приду. Есть вещи, о которых тяжело говорить, – прибавила она, заметив, что Тави уже набирает, соответственно новому удивлению, приличное количество воздуха, – но которые нужно знать. Итак, вы остаетесь; будьте как дома.

Сквозь грусть ее слов вырезалась глухая усмешка. Пока Тави соображала, как отнестись ко всему этому, вдова Торпа, взяв со стола часть бумаг, вышла и притворила дверь; стало тихо, Тави была одна.

– Нас то ругают, то ласкают, то оставляют и... – она тронула дверь, – нет, не запирают; но короб загадок высыпан уже на мою голову. Все загадки крепкие, как лесные орехи.

Ее взгляд остановился на драгоценных рамках картин, затем на картинах. Их было более двадцати, кроме панно, и все они казались иллюстрациями одного сочинения – так однородно-значительно было их содержание. Альковы, феи, русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сцены разных эпох, купающиеся и спящие женщины; наконец картины более сложного содержания, центром которого все же являлись поцелуи и любовь, – Тави пересмотрела так бегло, что едва запомнила их томные и томительные сюжеты. Она торопилась. Ее особенностью был нервный позыв схватить вниманием все сразу или сколько возможно больше. Поэтому, быстро переходя от столов к этажеркам, от этажерок к шкапам и статуям, везде, так или иначе – в форме помпейской безделушки, этюда или изваяния, – она наталкивалась на изображение обнаженной женщины, из чего вывела заключение, что покойный имел пристрастие к живописи; может быть, рисовал сам. «Но что я должна смотреть, что надо увидеть?» В недоумении повела она бровью, пожала плечом, задумчиво рассматривая сквозь стекло шкафов красивые переплеты книг, уже манившие ее страсть к чтению, и сказала себе: «Начнем с главного. Наверное, эти книги должна была бы я читать умершему. Посмотрим».

Открыв шкаф, девушка схватила миниатюрный золотообрезный том; по привычке заглядывать в сердце книги, ее середину, что всегда делала с целью почувствовать, залюбопытствует ли страстно душа, она выделила ряд страниц наудачу и внимательно прочла их. По мере того как шрифт вел ее к темным местам, значение которых не поддавалось ее опыту, но говорило все

же сотой частью своей нечто *особенное*, подобное лукавой исповеди или намеку, ее брови сжимались все мрачнее, рассекая белизну выпуклого и чистого лба морщиной сурового напряжения. И медленно, как от сильной боли, сдержанной чрезвычайным усилием, от самых ее плеч, по шее, ушам, по всему оставшемуся спокойным лицу поднялся, алея, густой румянец стыда. Но она не уронила и не бросила удивительное издание. Закрыв том, Тави аккуратно вдвинула его на прежнее место, прикрыла дверь шкапа, медленно подошла к звонку и с наслаждением придержала палец на кнопке до тех пор, пока он не занял. Все стало ясно ей – все загадки этого утра нашли точное объяснение, и хотя на ней не было никакой вины, она чувствовала себя так, как если бы ее зеленая пальма была уже схвачена жесткой рукой. Но она не оскорбилась – тень смерти стояла меж ней и судьбой этого дома, смерть унесла все.

Глава VI

Не замедлив, пришла вдова; почти с ужасом смотрела на нее бледная и тихая Тави. «Так вот как ты жила!» На эту мысль девушки, как бы угадав ее, прозвучал ответ:

– Да, все мы не знаем, что нам придется делать на этом свете. Но – добавить ли что-нибудь?

– Нет, нет. Довольно, – поспешила сказать Тави. – Теперь я уйду. Стойте. Прежде чем распрощаться и уйти, я хочу видеть умершего.

– Вы?!

– Да.

Вдова, прищурясь, молча искала взглядом смысл этого желания; но обыкновенно подвижное и нервное лицо Тави стойко охраняло теперь свою мысль; и вообще была она уже не совсем та, прежняя; ее слова звучали добродушно и твердо, с неторопливостью затаенной воли. Чтобы рассечь молчание, Тави прибавила:

– Обыкновенная вежливость требует этого от меня. Уже нет того человека. Я приехала к нему на его деньги, одним словом, *внутренне* мне нужно проститься и с ним.

– Быть может, вы правы, Тави. Идите сюда.

Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета к портъере, подняв которую, открыла скрытую за нею дверь соседнего помещения. Занавеси были там спущены, и огонь высокой свечи отдаленно блеснул из сумерек в ливень дневного света, потопившего кабинет.

– Он там, – сказала вдова. – Скоро привезут гроб.

– А вы? – Тави, придерживая над головой складку портъеры, мягкой улыбкой позвала войти эту женщину, лицо которой мучительно волновало ее. – Разве вы не войдете?

– Нет. Это сильнее меня. Просто я не могу. – Она закусил губу, потом рассмеялась. – Если я войду, я буду смеяться, – вот так, – все время; смеяться и ликовать. Но вы, когда взглянете на его лицо, вспомните, вспомните *шестерых* и помилосердствуйте им. Две отравились. Судьба остальных та самая, какой широко пользуются косметические магазины. Не сразу он достигал цели, о нет! Вначале он создавал атмосферу, настроение... привычку, потом – книги, но издали, очень издали; быть может, с «Ромео и Джульетты», – и далее, путем засасывания...

– Он умер, – сказала Тави.

Как будто вдова Торпа лишь ждала этого напоминания. Ее лицо исказило и потрясло гневом, но, удержась, она махнула рукой:

– Идите!

И девушка подошла одна к мертвому. Торп лежал на возвышении, закрытый простынями до подбородка; огни свечей бродили по выпуклостям колен, рук и груди складками теней; мясистое лицо было спокойно, и Тави, едва дыша, в упор рассматривала его. По всему лицу мертвого уже прошло неуловимое искажение, меняющее иногда черты до полной несхожести с тем, каковы были они живыми; в данном случае перемена эта не была разительной, лишь строже и худее стало лицо. Умершему, казалось, было лет пятьдесят, пятьдесят пять; его довольно густые волосы, усы и борода чернели так ненатурально, как это бывает у крашенных; толстый, с горбиной нос; мертвенно-фиолетового оттенка губы неприятно ярко выделялись на тусклой коже дряблых, с ямками, щек. Глаза ввалились; под веками стояла их мертвая, белая полоса, смотрящая в невидимое. Как, почему остановилось внезапно гнилое, жирное сердце? Под этим черепом свернулись мертвые черви мыслей; последних, кто может узнать их? Тави могла бы видеть и развернуть комки мозговой слизи в их предсмертный, цветущий хаос – блеск умопомрачительной оргии, озарившей видением пахнущую духами спальню; видение – больше и острее сна, с вставшими у горла соблазнами всей жизни, перехватившими удар сердца слад-

кой электрической рукою своей. Та сила, которая равно играет чудесами машин и очарованием струн, нанесла твердый удар. С минуту здесь побыл Крукс. Но не было воздушных следов.

Тави смотрела, пока ее мысли, стремясь важным и особым путем, не задели слов «жизнь», «смерть», «рождение». А завтра день моего рождения! Это так приятно, что и сказать невозможно. Тогда в ней просияла улыбка.

– Я вас прощаю, – сказала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы соединить эти слова с взглядом на все лицо Торпа. – Торп, я прощаю вас. И я должна что-нибудь прочесть вам, что хочется мне.

Она вернулась в кабинет к шкапам, нахмуренная так серьезно, как хмурятся дети, вытаскивая занозу, и среди простых переплетов выдернула что попало. Книгу она раскрыла, лишь подойдя опять к мертвому. То был Гейне, «Путешествие на Гарц».

– Слушайте, Торп, – оттуда, где вы теперь.

Строки попутались в ее глазах, но наконец остановились, и, успокаиваясь сама, тихо, почти про себя, прочла Тави первое, что пересекло взгляд:

Я зовусь принцессой Ильзой,
В Ильзенштейне замок мой.
Приходи туда, и будем
Мы блаженствовать с тобой...

– Больше я не буду читать, – сказала девушка, закрыв книгу, – а то мне захочется попросить ее на дорогу. И я уйду. Прощайте.

Она снова приподнялась, легко поцеловала умершего в лоб поцелуем, подобным сострадательному рукопожатию. Потом торопливо ушла, метнув портьеру так быстро, что по ее горячечному лицу прошел ветер. И этот поцелуй был единственным поцелуем Торпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза.

Глава VII

Рассеянная и грустная вышла Тави на улицу. Она не взяла денег, несмотря даже на то, что остающейся у нее суммы не хватало купить билет; деньги были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо восстало.

– Благодарю вас, – сказала она вдове, – мне хочется одного – скорее уйти отсюда.

Так она ушла и очутилась среди сотрясающего грохота улиц жаркого Лисса с стесненно-замирающим сердцем.

Некоторое время то гневно, то удрученно, не замечая, как и куда идет, девушка была занята распутыванием темной истории; хор противоречивых догадок, лишенных основы и связи, мучил ее сердце, и, устав, бросила она это, присматриваясь к уличному движению, чтобы легко вздохнуть. Понемногу ей удалось если не рассеяться, то восстановить равновесие; дрогнув последний раз в знобком отвращении плечиками, она стала осматриваться, заметив, что удалилась от центра. Улицы были серее и малоллюднее, толпа неряшливее; громоподобные вывески сменились ржавыми листами железа с темными буквами, из-за оград свешивалась чахлая зелень. Открытые двери третьеразборного трактира приманили аппетит Тави; усталая и проголодавшаяся, войдя с сумрачным видом, села она к столу с грязной скатертью и спросила рагу, что немедленно и было ей подано, – неприглядно, но отменно горячо, так что заболели губы. Не обращая внимания на взгляды обычных посетителей заведения, Тави храбро занялась кушаньем, в котором соли и перцу было, может быть, больше всего прочего, и, залив жжение горла стаканом воды, вышла, настроенная практически.

Как быть? Как достать денег, чтобы вернуться обратно, и чем заняться до семи вечера? В семь отходил поезд. Но простодушный, великодушный Крукс мог теперь, ничем не утруждая себя, сообщить ей свой адрес, туда, где ее нет. «Если сделать так... – рассуждала она, обрекая медальон, подарок покойной матушки, кассе ссуд и решаясь продать новую шляпу, картонка с которой покачивалась на ее локте, – ну, шляпу *можно* продать; а за медальон...» И, погружаясь в точный расчет, пошла она, приговаривая:

– Если так и так, будет вот так и этак... Или не так? А как?

В чем-то не сошлись воображаемые ею цифры, и приостановилась она, подняв голову, с удивлением слушая странный золотой звон, тихий, как бред ручья в неведомой стороне. Пустынно было на улице, лишь далеко впереди смутные фигуры мелькали на перекрестке; справа же двигалась шагом извозчичья подвода; спал или дремал возница, опустив голову, накрытую рваной шляпой, – понять было мудрено. Казалось, выехала подвода из соседних ворот, из тех, что со стуком закрывались уже, показывая внизу чьи-то отходящие ноги. С каждым шагом понурой лошади подвода, трясясь, сеяла тот чистый кисейный звон, к которому прислушивалась удивленная девушка.

Она пошла медленно, рассматривая и соображая, что бы это могло быть. Под холстом, свисавшим касаясь колес, высилось подобие тиары, выставляя неопределенные очертания углами складок, мешающих собрать намеки форм странного груза в какое-либо достоверное целое. Эта, по-видимому, легкая поклажа тихо покачивалась из стороны в сторону, звуча, словно человек вез груды тамбуринов. Не вытерпев, Тави подошла ближе, спрашивая:

– Скажите вы мне, пожалуйста, что это у вас так звенит?

Возница апатично взглянул на нее из дали уединенных соображений, прерванных вопросом, достоинство которого было для него тупой и темной загадкой.

– Эх! – сказал он, отмахиваясь с досадой, что должен перевести кропотливо ползущие мысли на более быстрый ход. – Ну, звенит, а вам что до этого? Идите-ка себе с богом. – Здесь, по опыту доверяя лошади, которой кнут был только приятен, так как отгонял оводов, апатично

стегнул он животное, но оно только помахало хвостом, выразив гримасой задней ноги фальшивое оживление, и не быстрее, чем раньше, свернуло за угол, на шоссе.

Когда Тави, естественно, взглянула в ту сторону, то увидела за домами зеленый просвет. Все шоссе покрыто было народом, спешившим, как на пожар; размахивая листками, бежали газетчики; тележки торговцев фруктами и прохладительными напитками неслись среди экипажей, полных дам и щегольски одетых мужчин, под ногами шныряли уличные собаки, лая на тех собратьев, чьи расчесанные тельца степенно следовали впереди шелковых юбок, в меру длинных цепочек, прикрепленных к ошейникам. Кричащий букет мелькнул в стеклах автомобиля, изрыгающего густые жуткие заклинания; гарцуя, стремились всадники; костыли нищих, влекомые ради быстроты хода под мышками, резво колыхались среди зонтиков и тростей; матери тащили задыхающихся детей с неописуемым отчаянием в их раскрасневшихся личиках; поджимая губы семенили старушки; мальчишки неистово голосили, мчась по мостовой, как в атаку. Здесь таинственная подвода скрылась и затерялась, а Тави спросила первого встречного: «Куда спешит весь этот народ?»

– Вы разве не здешняя? – проговорил тот, оборачиваясь на ходу. – Так вы, значит, не знаете: сегодня «мертвые петли»!! Полеты! Полеты! – в виде пояснения прокричал он, беспеременно опередив девушку.

Мигот воспряла она; воодушеваясь, потому что любила всякие зрелища, забежала она в первую лавку, наскоро упросив взять до вечера на хранение свою мешающую поклажу, и двинулась с той же быстротой, как толпа, к неизвестному месту. Вспоминая время от времени о заботе по возвращению домой, успокаивалась она тем, что ощупывала под платьем медальон и мысленно открывала картонку. «Вот они, деньги!..» – приговаривала неудачливая путешественница. Толпа, солнце и сознание независимости развеселили ее. Тем временем шоссе свернуло под углом к полю; прямо же, если продолжить его линию, стояла высокая каменная стена, за которой среди сомлевших в жаре деревьев виднелся изгиб китайской крыши с флагом над ней; раскрытое пространство ворот пестрело движением спешивших людей. Кто уходил, кто входил, но больше входили, чем уходили, и, не зная порядков, Тави завернула туда. Внутренность двора пересекалась дощатым забором; у узкого прохода служитель проверял билеты.

– Ваш билет, – бросился он к девушке, уже прошедшей мимо него.

Она обернулась, не успев ничего сказать, как билетер занялся другими входящими, забыв о ней или сочтя ее «своим человеком», каких всегда много везде, где проверяют билеты. Довольная, что ей повезло, так как никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подалее и осмотрелась.

То был двор, или, вернее, маленький мощный плитам плац, с двух сторон которого всходили амфитеатром скамьи павильонов с боковыми и горизонтальными тентами. Народа было довольно; присмотрясь к нему, Тави заметила, что то не смешанная толпа публичных зрелищ, но так называемая «отборная» публика, преимущественно интеллигентного типа. Меж трибунами помещались крытые синим сукном столы с чернильницами и листами писчей бумаги; здесь заседал человек тридцать в ленивых позах жаркого дня, с расстегнутыми жилетами и мокрыми волосами на лбу, в сдвинутых на затылки шляпах. «Куда же попала ты, моя милая?» – недоумевающе отнеслась Тави, видя, что не здесь, должно быть, произойдут полеты. Но уже встал из-за стола, гремя колокольчиком, человек апоплексического сложения; его мощное, крутое лицо, почти безбровое, с бачками, которые, казалось, едва держатся на толстых щеках, – раскрылось круглым О сочного рта; требовательно он закричал:

– К порядку! Внимание! Тише! Я открываю чрезвычайное заседание Клуба воздухоплавателей.

Тем временем Тави увидела подошедшего к столу Крукса, того самого, который неожиданно исчез утром. Как будто отца родного встретила Тави – так обрадовалась она в чужой

толпе незнакомого города этому успокоительно-прямому лицу, – и, поспешно сев на ближайшую скамейку, закричала оттуда:

– Эй, Монгомери, что вы здесь делаете? Крукс! Крукс!

Тотчас его глаза направились к ней и сразу разыскали ее; узнав свою утреннюю встречу, он кивнул, прижал к губам палец и улыбнулся значительно. Тогда вдруг стало ей покойно, как дома; хотя кислые лица дам и поднятые с легкой улыбкой брови мужчин обратились к ней фронтом, выражая тем удивление или негодование, – она лишь порозовела, но не смутилась.

Взяв свободный стул, Крукс сел, опустив глаза. На нем теперь была кожаная глухая куртка, высокие сапоги и черная фуражка; ее ремешок проходил от виска к виску под подбородком. Здесь любопытство Тави достигло зенита, который называется замиранием, и личность Крукса, и обстановка, и неожиданное для нее заседание воздухоплатателей – все было как разобранные части неизвестной машины, что, собирая на ее глазах, готовились пустить в ход. Она трепетала. Видели вы, как возится, не в состоянии покойно сидеть на месте молоденькая, глупая девушка? Мир – еще зрелище для нее, а в зрелище этом, перебивая главное действие, роятся сцены всевозможных иных спектаклей. В эти минуты устойчивость ее внутреннего мира не более устойчивости видений, образуемых игрой дыма. Момента покоя нет ни в ее лице, ни в позе, ни в темпе дыхания, ей хочется затопать, привстать, смотреть впереди и по сторонам, торопить и шуметь.

Грузный человек был председатель. Добившись тишины, он сказал:

– Произошло следующее: в канцелярию клуба поступило мотивированное заявление господина Крукса, являющегося изобретателем летательного аппарата нового типа, в котором просит он не только произвести испытание, но и предоставить ему, Круксу, место в сегодняшнем состязании. Согласно уставу клуба, всякий моноплан, биплан, парашют, баллон или аэростат имеет быть, во избежание смешных и горьких недоразумений, предварительно оценен экспертами, дабы не иметь дела с попытками, технически невозможными, или же, чему немало примеров, абсурдными безусловно. Поэтому, так как имеется еще час времени до начала состязаний, президиум постановил: осмотрев аппарат Крукса, разрешить ему, при условии технической научности его изобретения, воспользоваться аэродромом для публичного опыта; и, если Крукс того пожелает, занести его в список авиаторов дня, с правом соискания призов на высоту, продолжительность и точность спуска.

По мере того как текла и оканчивалась речь председателя, багровый стыд окутал лицо Тави; до слез, до полной растерянности смутилась она, поняв теперь, что бесцеремонно-приятельски окликнула не кого иного, как знаменитого – конечно! – изобретателя. Боясь, что он снова поглядит на нее, уселась девушка так, чтобы высматривать из-за чьей-то большой шляпы. «Господи, спаси, помилуй и укороти мой язык», – шепнула она; однако раскаться вполне не успела; поднялись шум, говор; тонкие или любопытствующие замечания перемешивались с криками нетерпения.

Тогда взгляды всех обратились на Крукса, вставшего и сделавшего рукой знак с желанием говорить. Вновь притих шум; люди, сидевшие вокруг стола, наморщили лбы с важностью, означавшей их совершенное и безошибочное всеведение.

– Вот что, – сказал Крукс негромко, но так отчетливо, что его слова прозвучали ясно для всех, – я соорудил аппарат, по конструкции и системе двигателя не имеющий ничего общего с современным аэропланом. У меня нет ни пара, ни газа, ни бензина, ни электричества; ни парящих плоскостей, ни винтов; нет также особой задумчивости при выборе материала, из которого аппарат выстроен. Как из полотна или шелка, так из простой бумаги или листового железа может быть сооружен он без всякой потери его двигательной способности; он мчится силой звуковой вибрации, представленной четырьмя тысячами мельчайших серебряных колокольчиков, звук которых...

– Звук которых?! – перебил голос, выразивший тоном своим общее недоумение. – О чем вы говорите?

Прозвучал смех. Тишина сдвинулась. Равновесие внимания, получив удар по обеим чашам весов, исчезло, как исчезают все призраки условной обществeнности. Кто переглянулся; кто, оглядываясь, искал нетерпеливца, спросившего, к чему клонит странная речь загадочного изобретателя. Председатель, схватив звонок, готовился восстановить тишину: но ему что-то шепнули, и уже сам, с некоторым сомнением, в замешательстве, мельком посмотрел он на Крукса, стоявшего, ожидая возможности говорить дальше, с простотой сильного человека, затертого на углу улицы бегущей толпой. Тогда Тави стала бояться за Крукса; в чем бы ни потерпел человек этот поражение, ей было бы то несносно; у нее успело уже созреть решительное к нему пристрастие. Ей нравилось, что он будет, по-видимому, один против многих, но, зная силу осмеяния, боялась она, как бы сцена, без отношения к результатам ее, не приняла характер комический. Меж тем раздались еще восклицания; прошел и стих шум.

– Быть может, – сказал председатель Круксу, – вы утомлены несколько; может быть, вы нездоровы, взволнованы; в таком случае не будет для нас обидой отложить ваше крайне интересное объяснение до следующего хотя бы дня.

Крукс улыбнулся без смущения; с видом полного удовольствия слушал он эту осторожную и мягкую реплику.

– Я должен просить вас разрешить мне сказать все, что я хочу, могу и считаю нужным сказать. Но чтобы те, почти чудесные новости, которые открыты мной, возымели силу не голословную, должен буду представить аппарат свой перед собранием. Он не велик и не имеет ничего общего с теми неуклюжими *махаонами*, в которых *ездят* с таким шумом и риском...

Высказав это с вразумительной твердостью, не позволяющей далее иметь двух мнений, как относительно состояния своих умственных способностей, так и намерений, Крукс снова взял тишину за волосы, и внимание слушателей удвоилось. Тави слышала, что говорят вокруг нее.

– А вдруг? – сказал кто-то, подразумевая этим, что нет пределов открытиям. Несколько беглых споров утихли; возрастающий интерес заразительно перебежал по скамьям.

– Выслушать, выслушать! – закричали наконец с мест, видя, что жюри мнетса. – Мы хотим слышать!

Председатель решился, но решение свое обозначил, как некую дипломатическую уступку.

– Если вы настаиваете, – сказал он, – мы согласны. Однако есть увлечения, неподвиженная форма которых может заставить нас пожалеть об эксперименте; неудовлетворительные последствия оногo отразятся как на вас, так и на всех нас, потому что мы крайне сожалели бы о всем ненаучном, о всем, так сказать, дилетантски смелом, не отвечающем задачам Клуба воздухоплавания. Следовательно, если уверены вы, хотя бы отчасти, в положительных сторонах вашего изобретения, в основных принципах его, – честь и место, господин Крукс. Не скрою, что начало изъяснения вашего показалось всем столь знаменательно-странным... Итак, мы вас слушаем.

Настроив таким образом себя, Крукса и аудиторию в благожелательно предостерегающем смысле, председатель стал строг и весок лицом; он, а за ним все воззрились на Крукса, подобно экзаменаторам, затаенный помысл которых: «школьник, пади ниц!» – дышит каннибализмом.

– Наконец-то, – сказал Крукс, – слава богу! Вас смутили четыре тысячи колокольчиков; дополню это смущение: более четырех тысяч или менее, не играло бы никакой роли. Как детям, катающим снежное изваяние, мало заботы о том, чет или нечет снежинок поместится в человекоподобии зимы, метелей и холода, какое слепили они, так и я не настаиваю безусловно на четырех тысячах; охотно уступаю из них произвольное число или прибавляю к четырем

столько, сколько вообще поместится на моем аппарате; мне нравится много колокольчиков; дело не в числе, а в действии.

Если бы он улыбнулся, если бы хоть на мгновение тронулось это отчетливое лицо лукавой игрой, разразились бы гром и хохот потехи неуправляемые. Однако Крукс смотрел и говорил очень серьезно, что действовало, вразрез с его странными словами, самым удручающим образом. Еще не было ни протестов, ни резкого вмешательства со стороны тех, кто принимает как издевательство или вызов все лишнее готовой клетки в его мозгу, привыкшем к спокойной жвачке, прежде чем постичь суть явления, но уже означалось по выражениям лиц скопление атмосферы протеста. Всеуничтожающая ирония кривила губы членов президиума, обреченных благодаря собственному легкомыслию трепетать за солидный темп дня, за должное уважение к месту и делу, которым занимались они, нацепив значки, изображающие колеса и крылья. Все это хорошо понимала, оценивая по-своему, Тави, девушка, ставшая на перепутьи судьбы, – чувство судьбы коснулось ее настроения; невольно связывала она колокольчики, о которых говорил Крукс, с неистребимо-нежным воспоминанием о подводе и звоне, что слышала час назад. С подвешенным на золотой нитке юной тревогой сердцем ожидала она, как поступит наконец Крукс. Казалось, тот задумал уравнять ветер сбитого к себе отношения; его речь коснулась теперь многих вещей.

– Рассмотрим, – сказал он, – хотя бы неполно, анатомию и психологию движения в воздухе. До сих пор летают только птицы, насекомые и предметы; человек сопутствует летящим предметам, сам он лететь не может, кроме как в сновидении. Прицепясь к шару, имеющему значение как бы самостоятельного организма, двигающегося по произволу атмосферических изменений, не в более сложном он положении, чем гля, сидящая на семени одуванчика, когда его сорвало и несет ветром в пространство. Аэроплан как будто самостоятельнее приглашает посмотреть на эти затеи. Однако выясним суть, желания, идею полета, его мыслимое идеальное состояние. Неизбежно здесь сновидение; лишь его волнующий арабеск подскажет с отчетливостью прозрения, чем одушевлен чистый полет. Им правит легкий и глубокий экстаз; невдомые наяву чувства, столь странные, что им может быть уподоблено разве лишь пение на дне океана, звучат стройно в этих особенных условиях грезы, свергающей физическую тоску, – веками слоившееся отвращение к ногам, пойманым огромным магнитом. Вспомним, как мы летаем в то время, когда тело наше, завернутое одеялом, покорно своему ложу: само желание естественно отделяет нас, стремя и унося на безопасную высоту. Нет иного двигателя, кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи. Приметьте, что в стране сна отсутствуют полеты практические: перевозка почты, пассажира или призовое соревнование исключены; то состояние манит лишь изумительным движением в высоте; оно – все в себе, ничего сбоку, ничего по ту сторону раскинутого в самой душе пространства; без усилий и вычислений.

Но как же в действительности летит он? Или, вернее, как движется над землей, когда вы, закинув голову, поспешно шлете вдогонку его судорожно скорчившейся фигуре имя «Царь природы»? Вот...

Здесь раздался характерный гул мотора; громкое однотонное пение потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэроплан, пересекающий зрительное поле тяжким пятном.

– ... вот достижение, которое явилось нам кстати для демонстрации. Сколько сомнений! А опасений?! Не упадет ли оно? Быть может, не упадет. Сообразите, что это значит! Его движение свободно, как ход коня; его скорость обязательна; его двигатель ненадежен; его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен, его поворот нелегко; его вид некрасив; его полет – полет мухи в бутылке: ни остановиться, ни парить; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, и это – полет? Завидовать стрекозе, в математической точности движений которой

светится ясность перебегающего луча; смотреть на вырезной узор ласточки, живописуемый ею над отражением своим в блестящей воде, – восхитительным ничтожеством совершенных усилий; вздохнуть об орле, залегшем среди туманов с спокойствием самого облака, – не это ли удел наш? И не это ли тщета наша – вечный разрыв, залитый сиянием снов?

Немного надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершенны и как грубы те аппараты, которыми вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так – в отношении к истинному полету – происходит ваше летание. Оно – сами вы. Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; в любой момент, в любом направлении и с любой скоростью, – вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить долее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших, перейдем к опыту. Ранее того во всеуслышание, без жеста и сожаления заявляю, что не беру приза, хотя мной будут побиты решительно все рекорды. Смотрите и судите.

В глубине двора были приоткрыты ворота, их распахнули настезь, и двое рабочих внесли столь легкое сооружение, что никакого физического усилия не было заметно по их лицам. Нечто, окутанное холстом, покачивалось, тихо звеня. Тави, волнуясь, встала: «*Это оно*, то, что везла подвода». Сев, она не могла сидеть и встала опять, как встали вокруг нее все, рассматривая диковину. Затем произошло общее движение; зрители бросились к Круксу, окружив изобретателя тесной толпой; и там же, так удачно, что меж ею и загадочно звенящим предметом было свободное пространство, очутилась наша беспокойная путешественница.

Резким движением Крукс смахнул холст. Часть зрителей, не зная, сердиться или смеяться, отступила в глубоком разочаровании серьезных людей, поддавшихся курьезной мистификации; громко возопила другая часть; третья окаменела; четвертая... но вернее будет сказать, что сколько было людей, столько частей; мы же говорим вскользь. Случалось ли вам бежать сломя голову, куда побежала уже, ржа и рыча, уличная толпа? Не бог весть что ожидаете вы увидеть, как, протолкавшись в самую гущу смятения, видите всего-навсего малыша с обмусоленным пряником в руке и багровым от слез лицом; нянька потеряла его. «Где ты живешь?» – спрашивают ребенка; и он с изумлением, что не отведен еще по своему точному адресу, слезливо говорит: «Там!»

В то время как со стороны крыш висели уже в дыму заводских труб на привязи три баллона; в то время как напоминающий перетянутую бечевками колбасу грузный аэростат, махая какими-то перышками, двигался на высоте пятисот футов, и четыре бойких аэроплана, взрывая неровным гулом верхнюю тишину, носились над двором Воздухоплавательного клуба с грацией крыш, сорванных ветром; в то время как, следовательно, занавес аэропредставления взвился и совершались успехи, пред глазами судей явилось сверкающее изобретение фантастической формы. Оно было футов десять в длину и футов пять высоты. Его очертания спереди напоминали нос лодки, вытянутый и утонченный зигзагом лебединой шеи; причем точное подобие головы лебедя оканчивало эту шею-бугшприт. Корпус в профиль напоминал помпейский ладьеобразный светильник; корма странного судна, в том месте, где обыкновенно проходит руль, была, подобно передней части, вытянута и загнута вовнутрь, как бы над головой внутри сидящего, острым серпом. Тонкий, неизвестного материала, остов был, как каркас абажура, обтянут великолепным синим шелком, богато вышитым серебряным и цветным узором. Узор этот был так хорош, что многие, особенно женщины, дрогнули от восхищения; немедленно раздалась их полные удовольствия, искренние, горячие восклицания. Борты аппарата были обшиты темно-зеленой с золотым лавром шелковой же материей; но самой замечательной и причудливой частью дива сверкнули целые гирлянды, фестоны, цепи и кисти мельчайших колокольчиков из чистого серебра, легких, как пузырьки; их кружевом было обнесено судно. Крукс тронул свое создание, и казалось, оно взвеселилось звоном, рассыпав мельчайший смех.

– Четыре тысячи колокольчиков, – сказал Крукс, когда умолкли крики, побежденные изумлением. И он посмотрел на Тави так внимательно-мягко, что простота и бодрость заряженного величайшим любопытством спокойствия тотчас вернулись к ней. – Изобретение это – тайна; скажу лишь, что согласованность звона и способ управления им производят воздушную вибрацию, двигающую аппарат в любом направлении и с любой скоростью. Теперь я сяду и полечу; вам же предоставляю на свободе делать технические догадки.

– Он полетит! – задорно двигая круглыми щеками, сказал с сигарой в зубах немец-пилот.

– В театре; на канатах и блоках... – добавил другой.

– Это сумасшедший! – раздался серьезный голос.

– Глупая мистификация! – определил юноша с пушкой на губе.

Вдруг пронзительный свист разрезал смятение; как сигнал к свалке, вызвал он хор нестройного свиста, криков и оскорблений. Но Крукс лишь рассеянно осмотрелся; заметив вновь Тави, он сказал ей:

– Скоро увидимся, ведь Торп умер, и вам теперь не надо будет служить.

Эти неожиданные слова так поразили девушку, что она отступила; лишь:

– А вы знаете? – успела она сказать, как сцена быстро развернулась к концу.

Видя, что Крукс усаживается внутри своего прибора, председатель, решительно оттолкнув мешавших, подошел к странному авиатору.

– Я не могу позволить вам совершать никаких опытов, явно и заранее бесполезных! – встревоженно закричал он. – Вы либо больны, либо имеете цель совершенно нам постороннюю; кто в здравом уме допустит на момент мысль, что – тьфу! – можно полететь с этим... с этим... я не знаю что, – с этой негодной ветошью! Потрудитесь уйти. Уйти и унести ваше приспособление!

– Мне дано право, – холодно сказал Крукс, отвечая одновременно ему и тем звонкоголосым из толпы, кто, до хрипоты крича, поддерживал председателя. – Право! И я от этого права не откажусь.

– Не я, не я один; мое мнение, требование мое – общее мнение, общее требование! Вы слышите? Вот что вы натворили. Могли ли мы знать, с кем и с чем будем иметь дело? Оставьте собрание.

– Пусть скажут *все*, что хотят этого, – сказал Крукс.

– Прекрасно! – Председатель нервно расхохотался и так затряс колокольчиком, топая в то же время ногами, что тишина, улучив момент, встала стеной. – Господа! Милостивые государи! Помогите прекратить это! Господин Крукс, – если хоть один-единственный человек здесь присутствующий, нормальный и взрослый, скажет, что ожидает от вас действительного полета, – срамитесь или срамите до конца нас! Кто ожидает этого? Кто ждет? Кто верит?

Тут, врассыпную, но так скоро, что утих снова было поднявшийся шум, так ненарушимо-предательски установилось молчание действительное, полное невидимо обращенных вниз больших пальцев, что Тави сжалась. «Раз, два, три, восемь», – отсчитывала она, терпя в счете до десяти, чтобы разгромить ставшую ей ненавистной толпу, и вынудила себя сказать «десять», хотя от девяти держала мучительную, как боль, паузу. Молчание, сложив локти на стол, тупо уставилось в них подбородком, смотря вниз; Крукс быстро взглянул на девушку. Тогда, вся внутренне зазвенев и став до беспамятства легкой, шагнула она вперед, потрясая указательным пальцем, красная и сердитая на вынужденный героизм свой. Но лишь инстинкт двинул ее.

– Я! Я! Я! – закричала она с смехом и ужасом.

Тут все взгляды, как показалось ей, прошли сквозь ее тело; толпа двинулась и замерла, взрыв хохота окатил девушку ознобом и жаром, но, почти плача, увлекаемая порывом, она, сжав кулачок, двигала указательным пальцем, сердито и беспомощно повторяя:

– Да, да, я; я знаю, что полетит!

Сраженный председатель умолк; он растерялся. Члены совета, ухватив его за руки, яростно шептали нечто невразумительное, отчего он, совершенно не поняв их, сдался решительному нападению Тави.

– Я *держу* слово, – сказал он, отмахиваясь и расталкивая советников, – но я больше не председатель; пусть дитя и сумасшедший владеют клубом!

– Увы, мне не нужен клуб, – сказал Крукс, – не нужен он и моей заступнице. Отойдите! – И, как никто уже не противоречил завоеванию, он поместился внутри аппарата, оказавшегося, несмотря на хрупкую видимость, отменно устойчивым; как бы прирос он к земле, не скрипнув, не прозвенев; и белая голова лебедя гордо смотрела перед собой, дыша тайным молчанием. Сев, Крукс взял кисть бисерных нитей, прикрепленных к бортам, и потянул их; тогда, вначале тихо, а затем с стремительно возрастающей силой тысячи мельчайших струн, от которых дрожит грудь, все вязи и гирлянды колокольцев стали звенеть, подобно знойным полям кузнечиков, где кричит и звенит каждый листок. Этой ли, или другой силой – совершилось движение: ладья мерно поднялась вверх на высоту дыма костра и остановилась; то место, где только что стояла она, блестело пыльным булыжником.

Что освободилось, что скрылось в вспотевшей душе толпы, как только грянул этот удар, разверзший все рты, выпучивший все глаза, перехвативший все горла короткой судорогой, – отметить не дано никаким перьям; лишь слабое сравнение с картонной цирковой гирей, ухватясь за которую профан заранее натуживает мускулы, но, вмиг брошенный собственным усилием навзничь, еще не в состоянии понять, что случилось, – может быть уподоблено впечатлению, с каким отступили и разбежались все, едва Крукс поднялся вверх. Некоторое время он был неподвижен, затем с правильностью нарезок винта и с быстротой велосипеда стал уходить вверх мощной спиралью, пока ладья и сам он не уменьшились до размеров букета. Но здесь, порвав наконец все путы, настиг его вой и рев такого восторга, такого остервенелого и дикого ликования, что шляпы, полетевшие вверх, казалось, не выдержали жара голов, накаленных самозабвением. Только мертвец, сохрани он из исчезнувших чувств своих единственное – чувство внимания, мог бы разобраться в бреде и слепоте криков, какие, перепутав друг в друге все концы и начала, напоминали скорее грохот грузовых телег, мчащихся вскачь, чем человеческие слова; уже не было ни скептиков, ни философов, ни претензий, ни самолюбий, ни раздражительности, ни иронии; как Кохинур, брошенный толпе нищих, взорвал бы наиопаснейшее из взрывчатых потемок души, так зрелище это, эта непобедимая очевидность ринулась на зрителей водопадом, перевернув все.

«Ура! Ура! Гип! Ура!» – вопили энтузиасты, оглядываясь, вопят ли другие, и видя, что, надрываясь, кричат все, – били в ладоши, перебегая взад-вперед, толкая и тряся за руки тех, кто, в свою очередь, уже давно сам тряс их. «Новая эра! Новая эра воздухоплавания! Гип, ура! Власть, полная победа над воздухом!» – «Я умираю, мне дурно!» – кричали дамы. Другие, с глазами, полными торжественных слез, степенно утирали их, приговаривая, как в бреду: «Выше электричества; может быть, больше радия... что мы знаем об этом?» – «О боже мой», – слышалось везде, где не находили уже ни слов, ни мыслей и могли только стонать.

Над всем этим, искрясь, едва слышно звеня и цветя, подобно драгоценному украшению, покачивался, остановясь, шелковый прибор Крукса. Он там сидел, как на стуле. Его губы пошевелились, он что-то сказал, и благодаря высоте внизу лишь через одно-два дыхания, как из самого воздуха, раздалось:

– Четыре тысячи колокольчиков. Но могло быть и меньше.

Ладья повернулась, двинулась по уклону кривой прочь, так быстро, что никто не уследил направления, – стала точкой, побледнела и скрылась. Тогда, трепеща и плача от непонятной гордости, Тави сказала тем, кто успокаивал и утешал ее, допрашивая в то же время, кто такой Крукс, так как думали, что она близко знает его:

– Чему вы так удивляетесь? Аппарат тот изобретен и... имеет, конечно, ну... винты, и какие там надо двигатели. Летают же ваши аэропланы?! Я знала, что полетит. Уж очень мне понравились колокольчики!

Глава VIII

Как часто, приветствуя покойный свет жизни, доверчиво отдаемся мы его успокоительной власти, не думая ни о чем ни в прошлом, ни в будущем; лишь настоящее, подобно листьям перед глазами присевшего под деревом путника, колышется и блещит, скрывая все дали. Но непродолжительно это затишье. Смолкла или нет та музыка, гром которой отрывал наше беспокойное «я» от уютных мгновений, – все равно; воскресает, усиливаясь, и заставляет встать, подобная крику, долгая звуковая дрожь. Она мощно звенит, и демон напоминания, в образе ли забытом, любимом; в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего; в поразившем ли мысль острым резце чужой мысли, – садится, смежив крылья, у твоих ног и целует в глаза...

С того дня, как навсегда ушел Друд, жизнь Руны Бегуэм стала неправильной; не сразу заметила она это. Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал тот свежий, холодный тон самодержавной души, силой которого владела она днями и ночами своими. Не было в ней ни гнева, ни сожаления, ни разочарования, ни грусти, ни зависти; холодно отвернулась она от грез, холодно взглянула она на то, что встало непокорным перед ее волей, и оставила его вне себя. Она стала жить, как жила раньше; немного повеселее, немного лишь просторнее и общительнее. Галль уехал с полком в отдаленную колонию; она пожалела об этом. Все реже, все мертвеннее, как болезнь или причуду, о которой не с кем говорить так, чтобы понял то и правильно оценил собеседник, вспоминала она дни, павшие как разрыв в пену ее жизни, и Друда вспоминала скорее как наитие, сверкнувшее формой человеческой, чем как живое лицо, руку которого держала в своей. Но отдыхом лишь мелькнул этот спокойный один месяц; уже мрак был близко; он постучал и вошел.

Он вошел в серый день тумана, – в мозг, нервы и кровь, сразу, как, чуть покрыв, льет затем дождь. То было после беспокойного сна. Еще чуть светало; Руна проснулась и села, не зная, чем вернуть сон; сна не было, ни мыслей не было, ни раздражения – ничего.

Взгляд ее блуждал размеренно, от пола и мебели направляясь вверх, как смотрим мы в поисках опорной точки для мысли. И вот увидела она, что спальня высока и светла, что музы и гении, сплетшиеся на фигурном плафоне, одержимы стройным полетом, и в чудовищной живости предстали ей неподвижные создания красок. «Они летят, летят», – сказала, присмивев, девушка; широко раскрыв глаза, смотрела она душой, теперь еще выше и дальше, за отлетающие пределы здания, в ночную пустоту неба. Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь; высоко над собой увидела она его тень, движения и лицо. Он мчался, как брошенный, свистя, нож. Тогда не стало уже ни малейшего уголка памяти, в котором не запылал бы нестерпимый свет точного, *второго* переживания; снова увидела она толпу, цирк и себя; хор музыки рванул по лицу ветром мелодии, и над озаренной ареной, поднявшись неуловимым толчком, всплыл, как поднятая свеча, *тот* человек с прекрасным и ужасным лицом.

Она дрогнула, вскочила, опомнилась, и страх тесно прильнул к ее быстро задышавшей груди. В уверенной тишине спальни никла роскошная пустота; в пустоте этой всплыло и двинулось из ее души все, равное высоте, – тени птиц, дым облаков и существа, лишенные форм, подобные силуэтам, мелькающим вокруг каретного фонаря. Она держала руку у сердца, боясь посмотреть назад, где звонок, – с холодными и бесчувственными ногами. И вот прямо против нее, помутнев, прозрачной стала стена; из стены вышел, улыбнулся и, поманив тихо рукой, скрылся, как пришел, Друд.

Тогда, словно из-под нее вынули пол, страх и кровь бросились в голову; как в темном лесу, среди блеска и тишины роскошного своего уюта очутилась она, чувствуя кругом таинственную опасность, подкравшуюся неслышно. Боясь упасть, склонилась она к ковру, гордо-

стью удержав крик. Но оцепеневшее сердце, вновь стукнув, пошло гудеть; мысли вернулись. Звонок! Спасительная точка фарфора! Она прижала ее, задыхаясь и изнемогая от нетерпения, боясь обернуться, чтобы не увидеть того, что, чудилось, смотрит из всех углов в спину. С наслаждением усталого вздоха смотрела Руна на практично-здоровое лицо молодой женщины, прерванный сон которой был спокоен, как ее перина. Вихрь рассеялся, обычное вновь стало обычным, – вокруг.

– Поговори со мной и посиди здесь, – сказала горничной Руна, – мне не спится, не по себе; расскажи что-нибудь.

И пока рассвет не окружил штор светлой чертой, служанка, слово за словом, перешла к того рода болтовне, которая не утомляет и не развлекает, а помогает самому думать. Как жила, где служила раньше; что было у хозяев смешно, плохо или отлично. Руна вполслуха внимала ей, прислушиваясь, как больная, к щемящему душу жалу угрозы; слушала и перемогалась.

Не много прошло дней, и люди света, встречаясь или отписывая друг другу, стали твердить: «Вы будете на вечере Бегуэм?» – «Была ли у графа W Руна Бегуэм?» – «Кто был на празднике Бегуэм?» – «Представьте меня Руне Бегуэм». – «Расскажите о Руне Бегуэм». Как будто родилась вновь красавица Бегуэм и снова начала жить. Ее сумасшедшие заказы бросали в пот и азарт лучшие фирмы города; у ювелиров, портних, более важных и знаменитых, чем даже некоторые фамилии, у вилл и театров, у ярких, как пожар ночью, подъездов знати останавливалась теперь каждый день карета Бегуэм, смешавшей жизнь в упоительное однообразие праздника. Словно оглянувшись назад и спохватясь, вспомнила она, что ей лишь двадцать два года; что отчужденность, хотя бы и оригинального тона, гасит постепенно желания, лишая сердце золотого узора и цветных гирлянд бесчисленных наслаждений. Щедрой рукой она повернула ключи, и, шумно приветствуя ее, грянули из всех дверей хоры приветов; королевой общества, счастьем и целью столь многих любвей стала она, что уже в одном пожатии мужской руки слышала целую речь – признание или завистливый вздох, или же тот нервный трепет холодных натур, который обжигает, как лед, действуя иногда сильнее всех монологов. Казалось, рауты и балы, приемы и вечера восприняли несравненный блеск, волнение тончайшего аромата, с тех пор как эта нежная и сильная красота стала улыбаться среди них; остроумнее становились остроумцы; наряднее – щеголи; особый свет, отблеск восхитительного луча, сообщался даже некрасивым и старым лицам, если находились те люди в ее обществе. Все обращалось к ней, все отмечало ее. Каждый, внимая ей или следя, как кружит она в паре с красивым фраком, где пробор и осанка, гордый глаз и бархатный ус тлеют, уничтожаясь близостью этого молодого огня, развевающего белый шлейф свой среди богатой и свободной толпы, думал, что здесь предел жизнерадостному покою, озаренному крылом счастья, что нет счастливей ее; и, так думая, не знали ничего – все.

«Забудьте, забудьте!» – слышала иногда Руна во взрыве ликующих голосов, в вырезе скрипичного такта или стука колес, ветром уносящих ее к новому оживлению; но «забудьте!» – само предательски напоминает о том, что тщится стереть. Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль; нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как, в стороне от правильной мысли, часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала положение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то как молнии внезапно сверкали они, то тихо и исподволь, накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию. Смотря на купол театра, медленно поднимала она руку к глазам, чтобы закрыть начинающее возникать в высоте; высота кружилась; кружился, трепеща, свод; свет люстр, замирая или разгораясь, ослеплял, кроя туманом блестящий поворот ярусом, внизу которых, подобная обмороку, светилась отвесная бездна. Тогда все впечатления, вся наличность момента, зрелища, сцены и любезного за спиной полусшепота спокойных мужчин, чья одна близость была бы уже надежной защитой при всякой иной опасности, –

делались невыносимой обузой; и, выждав удар сердца, удар, рождающийся одновременно в висках и душе, к барьеру соседней ложи подходил Друд.

Тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет. Всю ночь в спальне и остальных помещениях ее дома горел свет; прислушиваясь к себе, как к двери, за которой, тихо дыша, стоит враг, сидела или ходила она; то рассмеявшись презрительно, но таким смехом, от которого еще холоднее и глуше в сердце, то плача и трепеща, боролась она с страхом, стремящимся сорвать крик. Но крик был только в душе.

– Довольно, – говорила она, когда несколько дней покоя и хорошего настроения давали уверенность, что бред этот рассеялся. Прекрасная, с прекрасной улыбкой всходила она по лестнице, где на поворотах, отраженная зеркалами, сопровождала ее от рамы до рамы вторая Руна, или усаживалась в полукруг кресел, среди мелькающих вееров, или, спустя поводья, верхом двигалась по аллее, говоря спутникам те волнующие слова, в которых, как ни обманчиво близки они к счастливой черте скрытого обещания, незримой холодной гирей висит великое «нет», – все с той же мыслью: «Довольно» – и даже без мысли этой, лишь в настроении счастливой свободы, вся собранная в пену и сталь. Тогда, смотря в зеркало с внезапной тоской, видела она, что в его глубине рядом с ней идет задумчивый Друд; что, подобные жемчужным крыльям, веера с свистом бьют воздух; что все громаднее, белее они, и чувство полета, острой и стремительной быстроты наполняло ее чудным мученьем. Она гладила лошадь, но, отвернув голову и собрав ноги, та, задрожав, не шла более; пятясь на месте, животное, казалось, жило в этот момент нервами своей госпожи, сердце которой билось, как копыта били песок; опустив голову, стоял, спокойной рукой держась за узду, Друд. Он взглянул и исчез.

Глава IX

Чем дальше, тем страшнее было ей жить. Не стерпев, она обратилась к Грантому – одному из тех положительных, но мало знаменитых людей, к которым привлекает окружающая их атмосфера ученой самоуверенности и практической чистоты; чья лысая голова с дарвиновским лицом и строго-человеческим взглядом поверх золотых очков как бы собирает нам тени и свет доверия в одном теплом порыве. Раздумывая о сумасшествии и опасаясь его, но не желая, однако, говорить все, Руна, обошла это формой галлюцинации, сказав профессору, что иногда видит бесследно скрывшегося знакомого. Отношение свое к вымышленному лицу она перевела с подлинника, обозначив таким образом все тонкости впечатлений рисунком обычных встреч. Одно прибавила она, дабы характеризовать общую форму: «Казалось мне, что в натуре его лежит нечто поразительное и тайное, до тех пор занимавшее мои мысли, пока не стало безосновательным, странным предубеждением». Но сеть волнистых линий ее объяснения была в чем-то не вполне правильна, неровна была линия передачи этой, и Грантом почувствовал ложь.

– Вам хуже, если вы не вполне искренни, – сказал он, впрочем, не настаивая знать подробнее; выслушав и осмотрев Руно, он, пристукивая карандашом, как бы подчеркивая стуком некоторые слова, сказал ей: – Вы здоровы. Все нормально в вас; нормальны душа и тело. Я скажу более: физически вы безукоризненны. Немного поговорив с вами, я вижу, что крайняя нервность, вызванная особыми обстоятельствами, проявляется тем более резко, что она находится в замкнутом кругу сильной воли, сдерживающей ее проявление. Об этом я хочу поговорить с вами подробнее; пока перейдем к лечению, поскольку вы в нем нуждаетесь.

Он испытующе взглянул на нее, но мельком; так смотрят, имея заднюю мысль; при мимолетности взгляда можно было счесть его смысл ошибкою беглого впечатления. Но тон, тон – этот безошибочный привкус речи – настроил Руно еще внимательнее, чем была она до сей минуты, – если вообще может быть различно внимателен человек, ждущий спасения. Грантом продолжал:

– Брак. Вот первое, что – хотите вы или не хотите – уничтожит вторую сферу, дверь которой в мгновения, не подлежащие учету науки, раскрывается перед вами внезапно, являя таинственное сверкание двойственных образов психофизического мира, которыми полно недоступное. Заметьте – оно открыто не всем.

Он замолчал, щурясь и всматриваясь сквозь очки глухим взглядом в бледные черты Руны; сведя брови, надменно улыбалась она, стараясь связать некоторые странные фразы Грантома с особенностью своего положения. Казалось, он заметил ее усилие: едва чувствуемый оттенок расположения, большего, чем вправе ожидать *только* клиент, разом исчез, едва он, откинувшись по глубине кресла в тень лампы, вернулся к практическому совету.

– Здоровый человек, любящей и сильной души, – не может быть, чтобы вы не встретили такое простое, но, с известной стороны, полное счастье, – такой человек, – говорю я, – брак и дети – словом, семья – выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано, пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, чернейте от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смейтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую траву, вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб, – и вы станете такой же, как все.

Спокойное слово развеселило и ободрило девушку.

– Да, я так и сделаю, это прелестно, – сказала она с воодушевлением, полным живописных картин; как бы уже став полудикой, сильной и загорелой, отважно взмахнула она рукой. –

Я вытрясу там все яблони; а лазить через забор? Девочкой я лазила по деревьям. Грантом! Добрый Грантом! Спасите меня!

– Я спасу. – Он сказал это с задумчивостью и суровой энергией, но так, что следовало ожидать еще слов, быть может, условий. Затем Грантом повернул лампу, выказавшись в ярком свете ее весь, с улыбающимся неподвижно лицом. Улыбка собрала к его мило прищуренным глазам бодрого и умного старика сетку морщин, эти глаза теперь блестели остро, как искры очков. – Но слушайте, – внезапно оживляясь, сказал он, – не многим я говорю то, что вы услышите; лишь тем, кто отвечает мне складом души. Вам будет понятно сказанное. Не поразитесь и не смутитесь вопросом: уверены ли вы, что *это*– галлюцинация?

Подозревая хитрое испытание, Руна, несколько волнуясь, сказала:

– Да, я вполне уверена; странно было бы думать иначе; не так ли?

– Думать, – сказал Грантом, смотря на ее лоб, – думать. Или – знать. Что знаем мы о себе? Однако мы действительно знаем нечто, стоящее за пределом чистого опыта. Не думаете ли вы, что нервность наша, общая сумма нервности, звучащей ныне таким знаменательным и высоким тембром, есть явление, свойственное и прежним векам? Отметим лишь эту громадную разницу, не задевая причин. Человек пятнадцатого столетия знал силу душевного напряжения, но не разветвлений его; во всяком случае, столь бесчисленных, столь подобных дробности нитей асбеста; там, где человек пятнадцатого столетия просто кричал: «Хочу!», нынешнее это «хочу» облечено в тончайшие ткани изменчиво противоречивых душевных вейний и напевов, где самая основа его есть уже не желание, а – мировоззрение. Теперь возьмем ближе. Мы вздрагиваем от фальшивой ноты, морщимся от неточного или неверного жеста; заразиться или заразить других своим настроением так обычно, что распространено во всех классах и условиях жизни; слова «я знал, что вы это скажете», «это самое я подумал», понимание с полуслова или даже при одном взгляде; оборачивание на взгляд в спину; ощущение, что перед нами кто-то был там, куда мы едва вошли; смена и глубина настроений – есть лишь жалкие и обыденнейшие примеры могущества нервного восприятия нашего, принимающего размеры стихийные. Не думаете ли теперь вы, что, быть может, скоро наступит время, когда в этом сплетении, в этом сливающимся скоплении нервной силы исчезнут все условные преграды и средства общения? Что слово станет ненужным, ибо мысль будет познавать мысль молчанием, что чувства определятся в сложнейших формах; что в едином духовном, том, океане – появятся души-корабли, двигаясь и правя наверняка? В какой же сфере действуют эти силы?

Я пропущу, – продолжал он, понижая голос, – все соображения мои касательно этого пункта, как ни интересны они, чтобы подойти к главному, в связи с вами. Есть сфера – или *должна* быть, подобно тому, как должна была быть Америка, когда стало это ясно Колумбу, – в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь. Хотя мне ваш покой дорог, я со стеснением сочувствовал вам; я вздрагивал от радости вашей усыпить душу деревней. Если только у вас есть сила – терпение; есть сознание великой избранности вашей натуры, которой открыты уже сокровища редкие и неисчислимы, – введите в свою жизнь тот мир, блески которого уже даны вам щедрой, тайной рукой. Помните, что страх уничтожает реальность, рассекающую этот мир, подобно мечу в не окрепших еще руках.

Руна, опустив глаза, слушала и не могла вскинуть ресницы. Грантом говорил медленно, но свободно, с сдержанной простой силой точного убеждения; но не поднимала она глаз, ожидая еще чего-то, что, казалось, – взгляни она, – не будет никогда сказано. Благодаря способности, присущей весьма многим, и инстинкту, она завязала рот всем впечатлениям, лишь умом отмечая периоды речи Грантома, но мысленно не отвечая на них. Грантом продолжал:

– Реальности, о которых говорю я, – реальности подлинные, вездесущи, как свет и вода. Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я – Хозире-ней, человек, забывший о себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти; ни лицо, ни вкусы мои, ни темперамент, ни привычки не имеют решительно ничего общего с Грантомом данного типа. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Тогда Руна почувствовала, что должна и может посмотреть теперь так, как выразилось ее настроение. Она взглянула – с впечатлительностью охотника, палец которого готов потянуть спуск, и увидела Грантома иначе: глаза, с полосой белка над острым зрачком. Лицо, потеряв фокус – тот невидимый центр, к которому в гармонии тяготеют все черты лица, напоминало грубый и жуткий рисунок, полный фальшивых линий. Перед ней сидел сумасшедший.

– Грантом, – мягко произнесла девушка, – так что же? Брак и деревня? *Не соединить ли мне это* – пока?

Грантом стронулся, пожал плечами, поднял брови и, вздохнув, поправил очки. Малейшего следа искажения не оставалось теперь на его лице, смотревшем из-под очков с вежливой сухостью человека, ошибшегося в собеседнике. Он наклонил голову и поднялся. Руна подала руку.

– Да, – подтвердил он, – все как я сказал или в том духе. Лекарства не нужны вам. Будьте здоровы.

И она вышла, раздумывая, – то ли говорил он, что поразило ее. Но он говорил то, именно то, и она не разгадала его особой *минуты*.

Глава X

На другой день ей привезли розы из Арда; тот округ славился цветами, выращивая совершеннейшие сорта с простотой рая. Она разбиралась в их влажной красоте с вниманием и любовью матери, причесывающей спутанные кудри своего мальчика. Только теперь, когда все исключительное, как бы имея первый толчок в Друде, спокойно осиливало ее подобно магниту, располагающему железные опилки узором, – прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир. Перед ней на круглом столе лежал благоухающий ворох, с темными зелеными листьями и покалывающей скользкой гладью твердых стеблей. Всепроникающий аромат, казалось, и был тем розовым светом, таящимся среди лепестков, какого лишены розы искусственные. Самые цветы покоились среди смелой листвы своей в чудесном разнообразии красоты столь прелестно-бесстыдной, какая есть в спящей, разметавшейся девушке. Бледный цвет атласисто завернувшихся лепестков нежно оттенял патрицианскую роскошь алого, как ночь, венчика, твердые лепестки которого, казалось, связанные обетом, – рдели, не раскрываясь. Среди их пурпура и зари снегом, выпавшим в мае, пестрели белые розы, которыми, невольно окрашивая их, слово «роза» сообщает уютную жизненность, дышащую белым очарованием. И желтые – назвать ли их так, повторяя давний грех неверного слова, – нет, *не* золотые, *н е* желтые, но то, что в яркой особенности этих слов останется недосказанным, – были среди прочих цариц подобны редкому бархату, в складки которого лег густой луч.

Руна разобрала их, погрузив в вазы, и там, краше всех тонких узоров дорогого стекла, стали они по предназначенным им местам встречать взгляды.

Пока девушка занималась этим, в ней складывалось письмо; но не сразу поняла она, что это – письмо. Рассеянно погружаясь в цветы и аромат их, равный самой любви, слышала она слова, возникающие в рисунке усилий в душе движения пальцев и роз, в самом прикосновении. Вот расцепились стебли, соединить которые хотелось ей ради эффекта, мешал же тому завернувшийся внутрь бутон, и без звука началась речь: «Я хочу встретиться с вами, проверить и пересмотреть себя». Слова эти были обращены к твердой и надежной руке, не похожей на женственную руку Лидса, приславшего тот цветник, каким увлеченно занималась она теперь, – к воображенной руке обращалась она, несуществующей, но необходимой, и в такой руке мысленно видела свои розы. «Возьмите их, – сказал тот, чьего лица не видела Руна, – не бойтесь ничего рядом со мной». На руку ее упал лепесток; «Я жду, что вы мне напишете», – подсказал он; тут же, уколов палец, от чего движение руки случайно соединило две розы, белую и бордо, она увидела их прижавшимися, в столь разной, но столь внутренне близкой и взаимно необходимой красе, что этого не могло не быть. «Что знаем мы о себе и, если я вам пишу, – случайно ли это? Быть вместе – пока все, о чем думаю я. Рады ли вы этим словам?» – так, без мысли о незримом резце, ваяющем настроение, импровизировала она речь твердой руке; здесь подали ей письмо.

Оставив цветы, Руна стала читать любезное и остроумное повествование бравого балагура: лесть, шутки, наблюдения, остроты и гимны, – то легкое, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара, каким действуют психологи сердечного спорта. Без улыбки прочла она привычную и искусную лесть, но был там постскрипtum, где одно имя – Галль – тяжело взволновало ее: «Вот черная весть, естественно вызывающая почтительное молчание, – и я кладу перо; капитан Галль скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его душе».

Ее как бы хлестнуло по глазам, и, тронув их холодной рукой, еще раз прочла Руна красноречивый постскрипtum. Все то же прочла она – ни больше, ни меньше; лишь больше – в своей душе, поняв, что письмо, едва родившееся в ней, пока она разбирала цветы, – смято уже этим ударом; что думалось и назначалось оно в Азуджу – ради спасения – погибшему офицеру.

Глава XI

К концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы обступают долину небесным снегом, строго наказав прислуге не сообщать никому ее адрес, и всем запретила писать себе. Ее круг, узнав это, переглянулся с церемонной улыбкой, приветствующей каприз, ставший законом.

Она сняла в деревенской семье комнату с бедной обстановкой, живя, как жили окружавшие ее люди. Преодолев насмешливые или недоброжелательные взгляды, работала она на виноградниках и в садах, в изнеможении таская корзины, полные винограда и слив, копая землю, умываясь в ручье, засыпая и вставая с зарей, питаясь кислым хлебом и молоком, не зная книг, далеко уходя в лес, в дикой громаде которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколовшей его трещины. Как ни уставала, как ни томилась она среди этого мира, где одинаково звучат ласка и брань, где позыв заменяет желание, где никто не видит листьев и цветов так, как видим мы их, будто читая книгу, – ничто не утратила она ни из осанки, ни из выражений своих и, содрогаясь тонким плечом под тяжестью фруктовых корзин, шла так же, как входила на бал. Она загорела, ее руки покраснели и стали портиться, но следовала она намеченному с упорством страдающего бессонницей, который, повернувшись лицом к стене и отсчитывая до ста, готов еще и еще повторять счет, – пока не заснет. Так шла неделя, другая – на третьей почувствовала она, что хороша и мила ей эта раскинувшаяся цветущим трудом земля; что «я» и «она» можно соединить в «мы», без мысли, лишь вздохом успокоения. Она стала напевать, мирно улыбаться прохожим, шевелить носком прут, устойчивость и мера вещей снова окружали ее. Руна окрепла.

Раз вечером утих ветер; западное небо побледнело и выяснилось, как зеркало, отразившее пустоту. Три облака встали над красной полосой горизонта – одно другого громаднее, медленно валились они к тускнеющему зениту, – обрывок великолепной страны, не знающей посещения. Едва наделяло воображение монументальную легкость этих эфемерид земной формой пейзажа, полного белым светом, как с чувством путника бродило уже вверху, в сказочном одиночестве непостижимой и вечной цели. Легко было задуматься без желаний отчетливым сном раскрывшей глаза души над отблесками этой страны, но не легко вернуться к себе, – печально и далеко звеня, падало, теряясь при этом, что-то подобное украшению.

Не скоро заметила Руна, что к легкому ее созерцанию подошло беспокойство, но, различив среди светлых теней вечера темную глухую черту, встала, как при опасности. Протянув руку, отталкивала она этот набег – вихрь, какой – сердце не обмануло ее – возник в облачных садах Гесперид. Звонкие голоса играющих детей стали вдруг смутны, как за стеной; силы оставили ее; беспомощно устремив взгляд на плавное движение облачного массива, увидела она, что прямо к ее лицу мчатся, подобно налетающей птице, блестящие, задумчивые глаза, – ни черт, ни линий тела не было в ужасной игре той, – одни лишь, получившие невозможную жизнь среди алой зари, падая и летя, близились с воздушных стремнин глаза Друда. Как при встрече, были уже близки и ясны они, но, едва сердце несчастной стало на краю обморока, мгновенно исчезли.

Два дня Руна была больна, на третий, с внезапным отвращением к тому, что так еще недавно поддерживало и веселило ее, – возвратилась домой. Она не потеряла надежды. Напротив, в новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы старого друга, о котором забыла. Но друг был тут, рядом, – стоило лишь с доверием обратиться к нему. Его голос был так же спокоен, как и в дни детства, – вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет он, выслушать и поверить ему.

Тот день она провела тихо, не беспокоили ее ни мелочи жизни, ни страх, ни воспоминания. Прошлое двигалось как бы за прозрачной стеной, незыблемой и пропускающей душевные бедствия, и она тихо рассматривала его. Как стемнело, Руна вышла одна, калиткой сада, в сеть второстепенных улиц города; за ними был переулочек с маленькой церковью, стоявшей на небольшой площади. Вечерняя служба кончилась; несколько прохожих миновали ее, выйдя из освещенных дверей, в глубине которых блеснули серебро и свеча. Уже разошлись все, храм был полутемен и пуст; церковный сторож, подметая за колоннами пол, передвигал огромную свою тень из угла в угол, сам оставаясь невидимым; мерный шум его щетки, потрескивание горящего воска и тишина, еще полная теплого церковного запаха, казалось, всегда были и всегда будут здесь, маня внутренне отдохнуть.

Хотя свечи догорали в приделах, сообщая лиловеющими огнями лицам святых особенное выражение тайной, ушедшей в себя жизни, алтарь был освещен ярко; блеснули там цветные и золотые искры сосудов; огромные, снежной белизны свечи вздымали спокойное пламя к полутьме сводов, отблеск которого золотой водой струился по потемневшим краскам образа богородицы бурь, лет тридцать назад заказанной и пожертвованной моряками Лисса. Буйная братия украшала драгоценность свою, как могла. Не один изъеденный тропическими чесотками, почерневший от спирта и зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав, как то сказать, волосатый верзила, разучившись крестить лоб, а из молитв помня лишь «Дай», – являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел захватить. На деревянных горках лежали здесь предметы разнообразнейшие. Модели судов, океанские раковины, маленькие золоченые якоря, свертки канатов, перевитые кораллом и жемчугом, куски паруса, куски мачт или рулей – от тех, чье судно выдержало набег смерти; китайские ларцы, монеты всех стран; среди пестроты даров этих лежали на спине с злыми, топорными лицами деревянные идолчики, вывезенные бог весть из какой замысловатой страны. Смотря на странные эти коллекции, невольно думалось и о бедности и о страшном богатстве тех, кто может дарить так, сам искренне любясь подарком своим, и ради него же лишней раз заходя в церковь, чтобы, рассматривая какого-нибудь засохшего морского ежа, повторить удовольствие, думая: «Ежа принес я; вот он стоит».

Среди этого вызывающего раздумье великолепия, воздвигнутого людьми, знающими смерть и жизнь далеко не понаслышке, взгляд божественной девушки был с кротким и важным вниманием обращен к лицу сидящего на ее коленях ребенка, который, левой ручонкой держась за правую руку матери, детским жестом протягивал другую к зрителю, ладошкой вперед. Его глаза – эти всегда задумчивые глаза маленького Христа – смотрели на далекую судьбу мира. У его ног, нарисованный технически так безукоризненно, что, несомненно, искупал тем общие недочеты живописи, лежал корабельный компас.

Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. Но не слезлась ее душа с озаренным покоем мирной картины этой; ни простоты, ни легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих, единственно-нужных слов, ни – по-иному – лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. Что-то неуловимое и твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам. И страстно слез этих хотелось ей. Как мысли, как душа, стеснено было ее дыхание, больше и прежде всего чувствовала она себя – такую, к какой привыкла, – и рассеянно наблюдая за собой, не могла выйти из плена этого рассматривающего ее – в ней же – спокойного наблюдения. Как будто в теплой комнате босая на холодном полу стояла она.

– Так верю ли я? – спросила она с отчаянием. – Верю, – ответила себе Руна, – верю, конечно, нельзя не знать этого, но отвыкла чувствовать я веру свою. Боже, окропи мне ее!

Измученная, подняла она взгляд, помня, как впечатление глаз задумавшегося ребенка подало ей вначале надежду увлекательного порыва. Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал

ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь, единственный за все это время раз – без тени страха, так как окружающее самовнушенной защитой светилось и горело в ней, – увидела она, сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она. Пришедший взял острую раковину с завернутым внутрь краем и приложил к уху. «Вот шумит море», – тихо сказал он. «Шумит»... «море»... – шепнуло эхо в углях. И он подал раковину Христу, чтобы слышал он, как шумит море в сердцах. Мальчик нетерпеливым жестом схватил ее, больше его головы была эта раковина, но, с некоторым трудом удержав ее при помощи матери, он стал так же, как прикладывал к уху Друд, слушать, с глазами, устремленными в ту даль, откуда рокотала волна. Затем палец взрослого человека опустил на стрелку компаса, вода ее взад и вперед – кругом. Ребенок посмотрел и кивнул.

Усмотрев неподвижно застывшую в земном, долгом поклоне женщину, сторож некоторое время ожидал, что она поднимется, – он собрался закрыть и запереть церковь. Но женщина не шевелилась. Тогда, окликнув, а затем тронув ее, испуганный человек принес холодной воды. Очнувшись, Руна отдала ему деньги, какие были с ней, и, сославшись на нездоровье, попросила позвать извозчика, что и было исполнено. Усталая и разбитая, как устают после долгого путешествия, она вернулась домой, спрашивая себя, – стоит ли и можно ли теперь жить?

Часть третья

Вечер и даль

Глава I

К двенадцатому часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще ничего в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса.

По стеклянной галерее старого дома, среди развешанного для сушки белья, ненужных ящиков и другого хлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукою вложив ключ, задумчиво повернула его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобный большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины в глубокой рассеянности Сократа, решая все и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился наконец многочисленными бурными вздохами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны как на бывалого человека, – этакое тертого дядю, которого теперь трудно удивить чем-нибудь.

Получив наконец окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она.

Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь; безжизненно, как засохший букет, в пыли и сору встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь, – так резка нетерпеливая жажда уюта, – с неприглядностью, оставшейся после торопливых и полных надежд сборов.

Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями, с выходящим на них рядом дверей тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери, с небольшою за ней комнатою, два окна которой обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютились ремесленная беднота, мелкие торговцы, благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартире осталась от прежнего жильца, пьяницы-капитана, давно покинувшего свое ремесло; он умер собачьей смертью во время драки на Берадском мосту; шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселины Ревущей щели; тело не было найдено. От него остались – комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями; кровать, несколько ковровых складных стульев, шкаф с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок; остальное, если и было что получше, – исчезло.

Тави не помнила ни отца, ни матери; ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом; отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучаясь более, чем старуха, ее болезнями и припарками, так как они отняли у нее много крови. На пятнадцатом году знакомый теткин книготорговец взял девушку в работу по лавке; она продавала книги и жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление.

Вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы по полусветским и дворцовым паркетам мира. Но не об этом думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай; так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном, и в его лучистом дыме над свечами страшного гроба неслись серебряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, пестрея, огромный диск города; то чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось вместе с благодарственным дымом от наболевших пяток к утомленным глазам; то искренно дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного.

– Тави, моя дорогая, – говорила девушка, – как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Воистину, Торп – Синяя Борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок. Он мог бы прилететь в своем аппарате и сесть к ним прямо на стол.

Представив это, она залилась смехом, упав в ладони лицом; выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебежала в заискрившихся ее глазах, посматривающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых все в мире так же просто, как их кроткое благодушие; аэроплан и бабочка едва ли сильно разнились на взгляд Тави, разве лишь тем, что у бабочки нет винта. Поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент.

– Он поднялся, но он сказал, что поднимется; и сказал – почему: вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво! Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру! Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель.

Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как она была окружена любопытными, воображившими, что именно эта девушка все знает, и как бегством спаслась от них, неотступно мерещилось лицо самого Крукса; все еще слышала она его голос; как он сказал: «Мы скоро увидимся». Зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала наконец раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла, даже в спине заныло от размышлений. «Спросил ли он по крайней мере, хочу ли я увидеть его?» – вот вопрос, о который споткнувшись, Тави начала повторять: «Хочу ли увидеть его? Хочу ли увидеть его?» – пока ей это не надоело. «Хочу. Да, хочу, и все тут; у него было ко мне хорошее отношение». От этой мысли почувствовала она себя сиротливо-усталой, обобранной и затерянной; к глазам подступили слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождением весельем и угощением немногих своих знакомых.

Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в Лисском ломбарде.

«Но я выкуплю его, как продам шаль, – подумала девушка. – Заказываю себе видеть хороший сон, оч-чень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним туда-сюда, в этой его штуковине».

Ах, Крукс, не знаете вы, что одна думает о вас и ничего не понимает и спит... спит... ссп...

Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем; затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы.

Глава II

В семь утра Тави проснулась, увидев все, что видим и мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок, с загадкой вчера и безденежьем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим, отрывком непостижимой истории лежало путешествие в Лисс.

Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлопотливые цели.

– Этого-то числа я родилась, – сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, глядя их и рассматривая как бы со стороны.

С скорбью нашла она, что они достойные гримасы, во всяком случае не хороши так, как у статуи или на известных картинах. Но – ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она ноги, – не кривы ли они, – вдруг они кривы? Одну вытаскила она из-под одеяла, подняв вверх, но, кроме белизны, прямизны и маленькой ступни, не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия, и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду, и оделась для уюта под одеялом.

С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой:

– Разве не уезжала? Когда приехала?

Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки; завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах.

– Устроили ли вы ваши дела, Тави? – сказала старушка; старик, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение, в зависимости от того, какой будет ответ.

– Да, ваши дела, – повторил он. – Откройте в себе талант, талант к сцене, при выигрышной вашей фигуре...

Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он с сладостью и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку.

– У кого же будете вы служить, моя милая? – осведомилась мадам Пунктир тоном легкого нездоровья.

Еще несколько лиц, в туфлях на босую ногу, с трубкой или шпилькой в зубах задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скаредные условия при трудной работе.

– Ну, как-нибудь! – был общий ответ. Короче всего поговорила девушка с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шестуй тут эскадрон, – их требовалось обойти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:

– Не вышло?

– Нет, – бросила на ходу Тави. При этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.

– Кикс? – сказал Кванг.

– Фью, – свистнула Тави.

Кванг продолжал курить.

Наступал один из тех упоенных блеском своим жарких и звонких дней, когда волнуемая, легкая свежесть нарядного утра подобна приветливой руке, трогающей глаза, перед тем как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвету. Торопясь до наступле-

ния жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей приходилось уже иметь дело с лавками, торгующими случайными вещами самого разнообразного назначения; в одну такую лавку и обратилась она.

– Эту шаль я продаю, – сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.

Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кисло-угрюмым своим лицом так тщательно, как едва ли вертели ее ткачи.

– Пока вы смотрите, я поговорю в ваш телефон, – сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить.

– Квартира доктора Эммерсона, – сказал ей в ухо издали женский голос.

– Ну, что же вы хотите за вашу вещь? – спросил лавочник.

– Рита дома? – сказала Тави. – Тридцать она стояла, может быть, двадцать пять не разорит вас? – «Она дома, и я сейчас позову ее».

– Послушайте, барышня, – сказал торговец, – зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же, и еще лучше за пятнадцать, две, три, сто штук продам.

– Ведь я продаю, – коротко ответила девушка. – Рита, ты? – «Да, я, кто это?» – голос был спокоен и глуховат. – Но это я, Тави.

– Берите двенадцать, – сказал лавочник.

– Лучше я брошу ее. – «Тави, что ты говоришь? Я не поняла». – Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым Бутсом. Это – день рождения.

– Берите пятнадцать! – крикнул торгаш.

– Ну, что там поздравлять, – хорошо, я возьму пятнадцать, – стареем мы с тобой, Рита, легко ли нести почти два десятка?! Жду и угощу всякими штуками. Что? Ну, будь здорова.

Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он делал это, осклабясь и засматривая в лицо девушке.

– Будьте здоровы, – сказал он, – приносите, что будет; мы все купим.

– Купить, перекупить, распроприторговать и распроперепродать, – рассеянно сказала Тави, став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой, – но одного вы не купите.

– Ну, что такое? – задетый в торговом азарте, спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки.

– Вы не купите дня рождения, как я купила его. Вот! – она сжала деньги, подняла руку и рассмеялась. – Не купите! Трафагатор, Эклиадор и Макридатор!

С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь, выпорхнула и исчезла девушка на блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах.

Купив, о чем мечтала еще вчера, – красную розу и белую лилию, Тави приколотла их к платью. В ее корзинке лежали уже яйца, мясо, масло и мука; среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки; несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так, вооруженная, с сознанием подвига явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту.

Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок; роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами, и яркая, как громкое биение сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой, одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось больно и сладко; варварски расправилась она с своими припасами и, наспех, припопывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить

потом, как будет готово; кипя и сердясь, протолкла в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий представилось ей, как будет все вкусно; тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкаф; затем вымыла руки, схватила книгу и уселась против окна.

Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок рядом на стол. Но было что-то в другой руке и она разжала ее: упал на колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвинула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, и ущипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушеваясь, старательно выскребла ножом плесень, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладывать к платку; меж тем блестящие глаза быстро – взад-вперед – пересекали страницу.

В то время как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгореть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сен-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, сидела пропитанная духами Тави. В то время как лорд, губернатор Калэ, требовал от Дианы невозможных страстей, – соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказала лорду: «О, нет!» И когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави, краснея, решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: «Да».

О вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны. Спала или нет Тави – не знала она; но, устав, видела, как среди армий англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их? Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству.

Глава III

Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплеываясь.

– Тьфу, тьфу! Как ведьма, как трубочист; не лучше я этого Сарацина!

Действительно ее нос был в пыли, полоса сажи марала щеку, а шея засерела от пыли. Уже Тави схватила полотенце, чтобы вытереться, но, подавленная, со вздохом опустила руку, качая головой:

– Не для кого мне прибираться и умываться; хороша я и так.

Действительно, она была *хороша* и так.

Нет более удобного момента описать женщину, как когда она сама вспомнит об этом; описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проницательный читатель заметил, что, подчеркивая наши слова – она была хороша и так, то есть хороша, несмотря на запачканное пылью и сажой личико, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажой, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попачкав ее прекрасные, однако лишённые иного выражения, кроме выражения условного совершенства, черты чем-нибудь темным, хотя бы той же сажой, – мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска придадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, так же неумолимо поражающую законченность, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у ней запылится нос или осквернится щека чернильным пятном; такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно.

Однако живая и веселая девушка с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого непрерывно разнообразно; девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений; худенькая, но хорошо сложенная, с открытым и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей, как трепет летней листвы, – может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться сколько душе угодно; ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тягло сажи потому, что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи, или живой, но с медленным темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая просто миловидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент.

Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комод, Тави повела мысленную беседу с Сарацином из гипса. Не раз о его подножие пропавший капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги Сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрел вдаль, другой же рукой держался за рукоять ятагана.

– Ну, как у вас в Сарацинии? – спросила девушка.

– Да ничего, помаленьку.

– Вот, говорят, вы просветили Испанию, – продолжала Тави, – были вы, говорят, велики, но умалились. Почему это?

– Я гипсовый, я не знаю, – сказал Сарацин.

– Слушай, – подбоченясь, заговорила девушка, – вынь же, наконец, свой ятаган, свистни им в воздухе и издай боевой клич; сколько лет держишься ты за эфес, а вытащить клинок не можешь. Воспрянь и изобрази!

– Это не выйдет, – отвечал Сарацин, – но вот что я скажу тебе, белая христианская девушка: я смотрю вдаль, где вижу твою судьбу.

Так ясно прозвучали эти слова, как будто Тави сама произнесла их. И от неподвижного взгляда гипсовой фигуры, с думой о его направлении, невольно обратила она свой взгляд в сторону, куда смотрел мавр; смотрел он на стену. Но за ее скучной границей сияла громадная орифламма мира, с мелькающим голубым зигзагом, который был как бы будущее самой Тави. Так, часто, в тенях теней невидимого, чертит неразгаданные знаки наша душа, внимая и обеща им на языке размышляющего молчания все, что лишено слов.

За уборкой, мытьем посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого соображениями прошел жаркий день, уступив душному вечеру. Но не было ничего забыто из происшествий памятного лисского дня; напротив, чем далее, чем упорнее и тяжелее катились мысли, тем непроницаемее становились события; была в них недоступная и непонятная связь. Как ни мучительно стягивала Тави узел из Крукса, знавшего, что Торп умер; из Крукса, сразившего толпу действиями, покрывшими оскорбительный гвалт воплем немедленного признания; из Крукса, сказавшего, что они скоро увидятся и что ей не надо будет больше служить, – вся сложная плетенка узла оставалась все же не чем иным, как неразделимым шнуром, стягивая который, лишь каменила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней и Круксом куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием, но, представляя себя с затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней, – у человека, который, не сегодня так завтра, затмит, может быть, Эдисона.

Глава IV

К восьми вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сиротливо-приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы.

– Я тебя угадала, – крикнула она, – это ты, Рита, мышка, тихоня, и твой, надо быть, похуевший Бутс!

Рыженькая, сухая девушка, с мелкими чертами лица, солидно переступила порог, оглядываясь на шествующего сзади поклонника.

– Это я, – протяжно сказала она, – но почему же Бутс похуев?

За ее спиной хихикнуло существо столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное на бок, могло бы вращаться оно в таком положении, подобно волчку, без опасения задеть ложе какой-либо второй точкой фигуры.

– Почему же Бутс похуев? Он кушает, слава богу. Но милая, поздравляю тебя. Бутс, поздравляйте. Это тебе торт, Тави.

Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порывистым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Бутса, притянув его вплотную к себе. Бутс был человек двадцати двух лет, во всем цвете пышной полноты десятилетних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюа.

– Так вы не хотите похудеть, Бутс, – сказала Тави, ущипнув его за вздрогнувший локоть, – жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться! Как вы вспотели! Это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы он всходил по лестнице тихо, – как у него сердце бьется, как дышит – бедный, бедный! Вам надо попудриться. Хотите, я вас попудрю?

Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Бутс, подняв обе руки, защитился этим движением с самым жалким видом; искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, поддавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.

– По-пу... по-пудриться, – выговорил он наконец, задыхаясь и обтирая лицо платочком, – нет, нет, я никогда, никогда, никогда... не... не попудрюсь! Благодарю вас. Будьте здоровы!

Эти сказанные наспех, но с жаром отвращения к пудре слова Бутса заставили хозяйку шлепнуться на табурет, удерживая обессиливающий хохот руками, прижатыми к лицу; даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.

– Однако, милочка, – осведомилась она, – ты так возбуждена, что мне стало тревожно. А? Что с тобой?

Новый стук в дверь перебил это замечание.

– Я весь вечер буду такая! – успела сказать Тави. – Видишь ли, моя милая, у меня нервы.

Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв в объятия чернокудрявую, с смуглым лицом молоденькой обезьянки, в огромной шляпе, Целестину Фюфор, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.

– Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!

– Поздравляю, Тавушка, поздравляю!

– Да, старость не радость. Целестинка, негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат!

Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом разка три; затем Тави была изысканно и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки; его манеры, насмешливое, самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером, сметливым в любую минуту.

– Цвести и украшать собой жизненный путь, цветая с каждым годом все пышнее и ярче! – так кончил он поздравление.

Внимательно, с подвижной улыбкой выслушав как выговор эту тираду, Тави торжественно подала ему вытянутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:

– Ах! Вы пронзили мне сердце! Пронзил он мне сердце или нет? – тут же обратилась она серьезной скороговоркой по очереди ко всем. – Пронзил или нет? Пронзил или нет? Пронзил или нет? – наткнувшись на учтиво посторонившегося Бутса. Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклякотал:

– Нет, нет, нет! – и боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой.

Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную, чистую комнату, но сквозь полуприкрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин, на что Флак, поведя бровью, заметил:

– О, вот идут Ральф и Муррей!

Точно, два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную, мужественного вида девушку с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу, и, тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн безумно-увлекательный вальс. Так они и вошли с вальсом, так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизгнув, дернул девушек за икры, со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертели на одном месте, так как вертеться по кругу было бы немисливо в такой тесноте даже цыплятам. Хотя Бутс более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна.

– Но вы прелестно танцуете! – шепнула она. – Так легко, как пуховичок!

И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прехладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту; наконец Целестина стукнулась спиной об одного музыканта, и бал кончился.

– Как вы более живописны, – сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными воротниками, – то мы устроим пестринку. Что, если посажу я вас одного рядом с собой, – именно вас, Муррей, ибо вы приятно мне улыбаетесь, к тому же белое мое платье и черный пояс – одно к другому подходит?! Ральф, деточка, идите сюда! Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь.

Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой.

– Вот, как-то теперь отраднее, – ну, идите, идите, садитесь, садитесь все, все, все! Этот стул хромой; этот, хотя и не хромой, но хрупок для вас, Бутс; ну, все сели? Уф!

Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая, пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисой и Мурреем. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита торт, Ральф вытащил колбасу, а Муррей коробку цукат; кроме того, перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует», отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга:

– Ты понимаешь что-нибудь? Нет. А ты? Еще меньше тебя!

С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях: сидящей, ерзая на стуле, и помахивающей перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатым, словно в нем был орех; вставшей, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящей в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но как камень лежало что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб – ноет, когда вспомнишь о нем.

Как едят и пьют – нам известно, разве лишь если звякнет оброненная ложка, или поперхнется, брызнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев, – стоит упомянуть об этом.

– Что же твоя поездка, Тави? – спросила Алиса, взглянув на ввернувшую словцо Риту.

– Ты не раздумала служить *вообще*? – сказала Рита. – Право, твой праздник хоть кому в пору!

Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря: – С этим делом прозевала, прозевала! Опоздала. Там нанялась другая.

Вдруг захотелось ей рассказать все, но, открыв рот уже, блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть, и усмешки со стороны слушателя, во всяком случае, рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечерка.

– А... э... э... – этими щебетовидными звуками ограничился ее слабый порыв; она порозовела и толкнула Муррея, написав ему пальцем на щеке: «Фью». – Оставим это, – равнодушно сказала Тави, – сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче.

– Ну, так и быть! – вскричал Ральф, хлопая себя по колену. – Займемся существенным. Неси бутылки, Муррей, а штопор у меня есть.

Ни слова не говоря, Муррей поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздь.

– Вот так ручища, – сказал Флак. – Но где же было это добро?

– Боясь, что мы застанем всех пьяными, – сказал Муррей, – и не желая никому гибели, я оставил их в галерее.

Похохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла: «Ром».

– Ром! – вскричала она с ужасом. – Но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я – нет, ни за что!

– Есть и мускат, – вежливо возразил Ральф, – вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии!

– А что это такое? – спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.

– Простая касторка, – сказал Муррей.

Наконец переговорили и перешутили по этому поводу все, и Муррей стал наливать; дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.

– А моя, моя, моя скромненькая бутылочка, что я купила, – сказала Тави, – мне подавать ли ее?

– Непременно, непременно! – вскричали мужчины. Бутс тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.

– Так выпьем! – предложил более других нетерпеливый Флак.

Тут кто пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вокруг Тави, которая, поперхнувшись слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.

– Всем, всем, всем! – сказала она, тут же подумав: «Интересно, как поздравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?»

Но мысли ее перебились возгласом.

– Так должен я рассказать, – продолжал возгласивший – это был Муррей, – что в преинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь, – и я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе.

– Я тоже читала. Глупости, – сказала, прожевывая пирог, Рита. – Что-то невероятное.

– Так вы не знаете? – закричал Муррей. – Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слышали ничего?

Удерживая знаки тревожного волнения, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с внимающим недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилием памяти.

– Я слышала, – протяжно сказала она, – я слышала что-то такое, что-то в этом роде, но, надо думать, я задремала и заспала, что говорили в вагоне. Ну, почитайте!

Муррей развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.

– Тише, – сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения; Муррею же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество, покашливая, ожидало начала чтения. Было тихо; этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешняя тишина дома; как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.

– Что это, как тихо везде! – заметила, нервно оглядываясь, Алиса. – Неужели уже так поздно?

– Вот, – сказал, раскладывая газету, Муррей, – судите сами, какое волнение произошло в Лиссе. Слушайте! – Но он остановился, как немедленно остановили свое внимание на другом все: быстрый, громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.

– Это что такое? – воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары, и, слабо побледнев, двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опередил Муррей; отстранив девушку, он сильно распахнул дверь; за ней, во тьме, пошевелилась толпа.

Кто понял, кто успел понять, в чем дело, – уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями, но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.

– Гром и молния! – сказал, оглядывая гостей Флак; как он, оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави с упавшим сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. Шесть жандармов окружало ее; еще двое, войдя, остановились у двери, остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны, и в лицах их сверкнуло что-то цепное, готовое сорваться по приказанию.

Как вещь, которой только что любовались мы покойно и беззаботно, вырванная мгновенно из рук чужим полным ненависти движением, исчезает с сразившей настроение болью внутреннего удара, так мгновенно вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх вдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей; вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как схвачены и потрясены видом оружия.

– Тави! – вскричала Алиса.

– Я отказываюсь понимать что-нибудь, – с сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь, пристально смотревшего на нее. У него был привычно отмечающий центр сцены взгляд; в руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.

– Так объясните, что это все значит, – сказала Тави, стараясь улыбнуться, – это вы привели их? Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу. Ведь вы ошиблись, конечно? Тогда извинитесь и уйдите; и то еще я посмотрю, как прощу вас. Это помещение занимаю я. Меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было *не нужно* знать.

– Тави Тум, – сказал неизвестный, – установить вашу личность – как раз то, что нам нужно. Вы арестованы.

Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и ушла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надменной улыбкой лицом. Ральф и Муррей бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.

– Вы совершенно сошли с ума, – горячо заговорил Муррей, протягивая руки, чтобы задержать двинувшихся солдат, – стыдитесь!.. Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемером!

Его отбросило движение локтя.

– Здесь есть человек, который знает, что делает, – резко ответил чиновник. – Или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?

Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала; Рита, трепеща, бессмысленно твердила, оглядываясь с жалким смехом:

– Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!

Но Бутс, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стул.

– Не смей, я не дам! – азартно закричал он.

– Молчать! – громко сказал жандарм.

Но, уже струсив сам, Бутс умолк с негодующим видом, помялся и стих.

Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина, подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной навсегда. Все взгляды были устремлены на пленницу, пытавшуюся тщетно вырваться из четырех сильных рук, механически державших ее. Плача, с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слез ртом, меж тем как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала наконец рваться и выкручивать руки, но, сколько могла сжать руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась.

– Я требую, – сказала она со всем пылом отчаяния, – чтобы вы объяснили мне вашу шутку! Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы взяли меня, как уличную воровку! Вот мои гости, мои друзья, – что подумают они обо мне?!

– Тави, дуручка! – поспешила перебить ее, утирая слезы, Алиса. – Не говори глупостей!

– Подумаем, что ты ребячий кипяток, – сказал, сжимая ей руку, Муррей. – Послушай, с этими людьми препирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя. Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба. Черт их знает, что они там напутали.

– Одно слово, – сказала Тави человеку, руководившему арестом, – какая причина вашего мерзкого дела?

– Вам будут даны объяснения на месте, – сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к выходу. – Я действую по приказанию и ничего ровно не знаю.

– Лжете, – ответила Тави с гневом и горечью, – лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова вас спрашиваю: зачем эта подлость?

– Довольно, – сказал чиновник, – попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут. Ну, господа, – он обратился к гостям, – вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет.

– Дайте же мне обнять их, – сказала Тави жандармам. Ее отпустили; она обняла друзей, встав на носки, когда дошло дело до Муррея и Ральфа, и, целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг; ей подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она наспех собралась, ответила восклицаниям воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапогов и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, словно хотел прикрикнуть, спокойно показала язык.

Глава V

Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы толкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее, среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта; из дверей соседних квартир выглядывали дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави из последних сил кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей свет и голоса дверью, она резко прихлопывалась и из-за нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили; двое шли впереди, махая рукой убраться с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и человек мигом прижимался к стене; лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, с пыхающей в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю.

– Я ничего не думаю! – успел крикнуть Кванг девушке. – До свиданья с торжеством!

Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение.

– Ну да, – донеслось ей вслед, – схватили, как птицу, и ничего более.

Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановились: на лестницу вбежал солдат, крича:

– Карета уехала! Там перебесились все лошади: дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать. Рванул, и понесли!

Гул восклицаний покрыл эти слова; меж тем шествие сбилось в кучу, и, когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждением слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз – что-то улаживать и выяснять.

– Вот вам, – сказала она сквозь зубы. – Лошади-то умнее вас!

Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седла, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей; они ржали и били копытами, пятась или шарахаясь с фырканием, полным ужаса.

– Ну, что же делать? – сказал кто-то с досадой.

– Сажай девушку на седло, – крикнул другой. – Смотрите в оба и помните, что случай опасный!

– Оружие наготове!

– Стой: держи арестованную посередине!

– Чего он боится? – прозвучал осторожный шепот.

– Это никому не известно, тут сам черт не поймет ничего.

Тави подвели к лошади; к ней протянулась рука нагнувшегося в седле солдата; другой, сзади девушки, неожиданно и сильно приподнял ее. Она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий, раскалывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник едва сдерживает готовое закусить удила животное; оно храпело и ржало. Тогда раздалась крики бешенства кинувшихся кончать дело людей.

– Ну и черт эта девчонка, – сказал тот, кто держал Тави.

– Не хочу, – мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом хватки и возни жестких рук, сопротивляться которым более почти не могла.

– Что за ночь! – раздалось над ее ухом.

– Давайте ближе фонарь! – кричали в стороне.

– Не могу справиться, – сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави. – Станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола.

Было темно, как человеку с завязанными глазами: ни звезд, ни луны; редкие фонари окраины мерцали издали. Порывами налетал ветер. Казалось, в таком мраке навсегда забыт

день и что пропало все, кроме стука и голосов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски державших ее солдат и задранную уздой вверх лошадиную голову, с безумием в огромных глазах; из ее рта текла пена. Теперь все крики и голоса были в затылок девушке; наконец ее почти бросили на седло, где, схваченная за талию неподатливой, как обруч, рукой, очутилась она сидящей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.

– Скачи, Прост! – крикнули солдату, увозящему Тави. – Эй, расступись, все по седлам и догоняйте его; смотри в оба!

– Пусти лошадь, – сказал жандарм.

Державшие коня отбежали; солдат метнулся, ахнул и, прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз, а Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла; нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла.

Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, трясая с исступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.

– Обыщите, отнимите револьвер! – переговаривались перед ее лицом. – Свяжите ее!

Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего; в то же время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском, секнувшим глаза как бы посреди самой свалки, перевернули все; качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном; остальные, вне себя, ринулись куда попало, хватая и отталкивая впопыхах друг друга.

– Нас убивают! Чего смотрите, надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Где арестованная?!

Застыв, прижалась Тави к стене, с поднятой для защиты рукой; изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт вместе с меловым мельканием сабель кружились кругом нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот:

– Сдержитесь; в полном молчании повинуйтесь мне.

– А кто это? – таким же шепотом, задыхаясь, спросила девушка.

– Я – Крукс.

Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвилась резким и спокойным усилием твердо отрывающая от земли рука; в то же время шум свалки отдалился, как если бы на нее бросили большое сукно.

Глава VI

Он поднял ее в руках, обвив ими легкое тело девушки так покойно, как будто ничто не угрожало ему, и неторопливо поправился, когда заметил, что ее плечо стиснуто его левой рукой. Но были уже притуплены ее чувства, и только глубокий вздох, вбирающий с болью новую силу изнемогшему сердцу, показал Друду, как было тяжело и как стало теперь легко ей. Она была потрясенно-тиха и бесконечно блаженно-слаба. Но чувство совершенной безопасности охватило уже ее ровным теплом; она как бы скрылась в сомкнувшейся за ней толще стены. Это впечатление поддерживалось решительной тишиной, в далях которой мелькали лишь подобные шуму платья или плеску глухой струи неровные и ничтожные звуки, отчего подумала она, что скрыта где-то поблизости дома, в месте случайном, но недоступном. По ее лицу скользил, холодя висок, ветер, что могло быть только на открытом пространстве.

– Помогите же мне, – сказала она едва слышно, – все объясните мне и как можно скорее, мне плохо – рассудок покидает меня. Вы ли это? Где я теперь?

– Терпи и верь, – сказал Друд. – Еще не время для объяснения; пока лучше молчи. Я без угрозы говорю это. Тебе очень неловко?

– Нет, ничего. Но не надо больше меня держать. Я встану, пустите.

– И этому будет время. Там, где мы стоим, сыро. Я по колено в воде.

Тави инстинктивно поджала ноги. «Ты» Друда не тронуло ничего в ее прижавшейся к спасению и защите душе; он говорил «ты» с простотой владеющего положением человека, не придавая форме значения. Она умолкла, но нестихающий ветер загадкой лился в лицо, и девушка не могла ничего понять.

– Я не буду говорить, – виновато сказала Тави, – но можно мне спросить вас об одном только в два слова?

– Ну говори, – кротко согласился Друд.

– Отчего так тихо? Почему ветер в этих стенах?

– Ветер дует в окно, – сказал, помолчав, Друд, – мы в старом складе; окно склада разрушено; он ниже земли; вода и ветер гуляют в нем.

– Мы не потонем?

– Нет.

– Я только два слова, и ничего больше, молчу.

– Я это вижу.

Она затихла, покачивая ногой, висевшей на сгибе Друдова локтя, с целью испытать его настроение, но Друд сурово подобрал ногу, сказав:

– Чем меньше ты будешь шевелиться, тем лучше. Жди и молчи.

– Молчу, молчу, – поспешно отозвалась девушка; странное явление опрокинуло все ее внимание на круг световой пыли, неподвижно стоящий прямо под ней фосфорическим туманным узором; по нему с медленностью мух бродили желтая и красная точки.

– Что светится? – невольно спросила она. – Как угольки рассыпаны там; объясните же мне, наконец, Крукс, дорогой мой, – вы спасли и добры, но зачем не сказать сразу?

Думая, что она заплачет, Друд осторожно погладил ее засвеженную ветром руку.

– В сыром погребе светится, гниет свод; гнилые балки полны микроскопических насекомых; под нами вода, и поблескивающая светом в ней отражена гниль. Вот все, – сказал он, – скоро конец.

Она поверила, посмотрела вверх, но ничего не увидела; стоял ветренный мрак, скованный тишиной, меж тем отражения в воде, о которых говорил Друд, меняясь и переходя из узора в узор, вычертились рассеянным полукругом. Ее томление наконец достигло предела; жажда уразуметь происходящее стала болью острого исступления – еще немного, и она разразилась

бы рыданиями и воплем безумным. Ее дрожь усилилась, дыхание было полно стога и тоски. Поняв это, Друд стиснул зубы, каменея от напряжения, увеличившего быстроту вдвое; наконец мог он сказать:

– Смотри. Видишь это окно?

Глотая слезы, Тави протерла глаза, смотря по некоторому уклону вниз, где, без перспективы, что придавало указанному Друдом явлению мнимо-доступную руке близость, сиял во тьме узкий вертикальный четырехугольник, внутренность которого дымилась смутным очертанием; всмотревшись, можно было признать четырехугольник окном; оно увеличивалось с той незаметной ощутительностью, какую дает пример часовой стрелки, если не отрывать от нее глаз. Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое, бессмысленное «ура!», хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках, подобно схваченному во время игры козленку.

– Ничего больше, как страннейший распричудливый сон, – сказала она, посмеиваясь, – ну-с, теперь мы с вами поговорим. Во сне не стыдно; никто не узнает, что делаешь и говоришь. Что хочу, то и выпалю; жаль, что я вижу вас только во сне. А не проснуться ли мне? Но сон не страшен уже... Нам кое-что надо бы выяснить, уважаемый Монте-Кристо. Не смейте, не смейте прижимать крепко! Но держать можете. Во сне я не постесняюсь, велика важность. Знайте, что вы приятны моему сердцу. А я вам приятна? Где ваша машина с колокольчиками? Почему знали вы, что умер старик? Кто вы, скажите мне, таинственный человек? И как вы живете? Не скучно ли, не тяжело ли вам среди бездарных глупцов?

Говоря так, смеялась и трясла она его послушную руку, прижимаясь к его груди, где чувствовала себя уютно, размышляя в то же время о правах сновидения не без упрека себе, но в лени и усталости чрезвычайной.

– Краснею ли я? – думала она вслух.

– Так это твой сон? – спросил Друд так особенно, как звучат голоса во сне.

– Ну да, сон, – беззаботно твердила девушка, держа его руку и смотря на налетающее окно. – Сон, – повторила она, подняв голову, чтобы рассмотреть кирпичную кладку. Окно охватило их и перебрисилось взад.

– Сон, – растирая глаза, сказала, топнув ногой, Тави – Друд уже опустил ее. Отекшие ноги заставили ее опереться на стол, и от движения, звякнув, жестяная кружка перекатилась по плите пола. Стеббс молча поднял ее, светясь и улыбаясь всем своим существом.

Она вздрогнула, выпрямилась и перевела взгляд со Стеббса на Друда; отступила, волнуясь, взяла кружку и бросила вновь, прислушиваясь, как звякнула жесть. Неразложимый на призраки голос предмета открыл истину.

– Это не сон, – медленно выговорила, садясь и складывая руки, девушка; сверкнуло все и раздалось в ней чудным ударом.

Друд посмотрел на Стеббса, сказав рукой, что надо уйти. Тави, сжав руки, переступила шага два ближе, так что Друд был с ней теперь рядом.

– Посмотрите на меня долго!

Он посмотрел с тем выражением, желание какого угадал в ней, – покорно и просто.

– Теперь не смотрите на меня.

– Бог с тобой, я не смотрю, – взволнованно проговорил Друд, – сядь и овладей сердцем своим. В себе ты найдешь все.

– Не трогайте, не разговаривайте меня, – чуть слышно сказала Тави. – Иначе что-то спутается...

Но не по силам было ей происшедшее во всем размахе его. Она встрепенулась.

– Очень много всего, – сказала Тави, взглядывая на Друда с бледным и тяжелым лицом.

Факты были сильнее ее, и она не могла одолеть их ни рассуждением, ни волнением; так резко жизнь бросила ее на другой берег, с которого прежний виден только в тумане, а этот поразителен, но молчит.

– Еще болят руки, так стиснул меня солдат. Спрашивается – за что?

– За тобой следили, думая, что узнают, где найти Друда. Мы перекинулись словами, когда мои колокольчики были еще потехой, когда ты славным сердцем своим встала на защиту осмеянного. Поэтому за тобой шел, а потом ехал приличный человек с умным лицом. Меня зовут Друд – ты слышала обо мне?

С ее лица не сходила задумчивость и покорность, а взгляд, блуждая с тихой рассеянностью, был полон тени, – он не играл, не блеснул. Ее впечатления остановились, застилая сознание огромным слепым пятном, и Друд понимал это, но не тревожился.

– Нет, не слышала, – сказала по-прежнему безучастно девушка. – А вы кто?

– Я человек, такой же, как ты. Я хочу, чтобы тебе было покойно.

– Мне покойно. Мне хорошо с вами. Здесь так хорошо сидеть. А это – что? – Тави слабо повела рукой. – Ведь это – старинный замок?

– Это маяк, Тави; но он, а также все приюты мои – их много – для тебя замки и будут замками. Все это для тебя и тебе.

Она подумала, потом улыбнулась.

– Вот как! Но что же... что же... чем же я отличилась?

– Наверное, тем, что ты сама не знаешь этого. Но я шел, а ты остановила меня. Правда, немного прошло времени, однако пора мне заботиться о тебе и с открытым сердцем слушать тебя. Мы, одинокие среди множества нам подобных, живем по другим законам. Час, год, пять или десять лет – не все ли равно? Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я тебя зову, девушка, сердце родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?

– Я все скажу... Я скажу все; но я *сейчас* не могу. – Она дышала слабо и тихо; ее взгляд был странно покоен; временами она шептала про себя или покачивала головой. – Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне только чтобы не было горести.

– Тави, – сказал Друд так громко, что кровь вернулась к ее лицу, – Тави, очнись!

Она посмотрела на свои руки, провела пальцами по глазам.

– Разве я сплю?! Но верно – все в тумане кругом. Что это? Что со мной? Очните меня!

Он положил руку на ее голову, потом погладил, как разволновавшегося ребенка.

– Сейчас ты станешь сама собой, Тави; туман рассеется, и все будет ни чудесным, ни странным; все просто, когда двое думают об одном. Смотри – стол; на нем хлеб, яичница, кофейник и чашки; в помещении этом живет смотритель маяка, Стеббс – плохой поэт, но хороший друг. Он правда друг мне, и я это ценю. Здесь родился и твой образ – год назад, ночью, когда играли мы на стеклянной арфе из пузырьков; а потом я уже видел тебя всегда, пока не нашел. Вот и все – такое же, как и у других, и люди такие же. Только одному из них – мне – суждено было не знать ни расстояний, ни высоты; во всем остальном значительно уступаю я Стеббсу; он и сильнее, и проворнее, а также отлично ныряет, чему я не могу научиться, а потому иногда завидую. Хочешь, я позову Стеббса?

– Хочу. – Она взглянула снизу на стоящего перед ней Друда, потом схватила его руку своими обеими ручками и, зажмурясь, крепко потрясла ее, натужив лицо, открыла глаза и рассмеялась смехом, полным тихого удовольствия. – Вы еще мне много покажете?

– Довольно, чтобы тебе не было никогда скучно. Стеббс!

Он стал звать, открыв дверь.

– Иду, иду! – сказал Стеббс с лестницы, где стоял, ожидая зова. Он был причесан, был вымыт, и, хотя дело происходило ночью, его брюки были отчищены бензином и мылом.

– Как хорошо! – сказал он. – Какая отличная ночь! Не хочется оторвать глаз от звездных миров, и я рассматривал их... Что вы сказали?

– Стеббс, – перебил его Друд, – сядь; второй раз мы прощаемся с тобой так внезапно. Но со мной жизнь, которую я искал, и ей нужен глубокий отдых. Есть также сведения о маяке у тех, кого мы не любим. Поэтому я не задержусь, только поем. Но ты будешь извещен скоро и явишься навсегда.

– Спасибо, Гора, – сказал Стеббс. – Как зовут нового друга?

Друд засмеялся:

– «Великий маленький друг» – зовут его, «Тави» зовут ее, «Быстрый ручей», «Пленительный звон»...

– Да, нас четырнадцать, – прибавила Тави, – но не все пересчитаны. Остальных, впрочем, вы знаете... А это правда, я – друг вам, друг, но только ведь навсегда?!

– Он знает это. Он – Гора, – сказал Стеббс, наполняя тарелку девушки. Но она не могла есть, лишь выпила, торопясь, кофе и снова стала смотреть поочередно на Друда и Стеббса, в то время как Стеббс спрашивал, куда отправится теперь Друд. Его мучило любопытство. Девушка была не совсем в его вкусе, но Друд принес и берег ее, поэтому Стеббс рассматривал Тави с недоумением почтальона, вскрывшего шифрованное письмо. Но ему было суждено привыкнуть и привязаться к ней очень скоро – гораздо скорее, чем думал в эту минуту он, мысленно сопоставлявший всегда с Друдом Венеру Тангейзера, какой изображена она на полотне, меньше – Диану, еще меньше – Психею; его *психологическое* разочарование было все же приятным.

Любопытный, как коза, Стеббс остерегся, однако, спрашивать о событиях, зная вперед, что не получит ответа, так как никогда Друд не торопился открывать душу тем, кто не теперь тронул ее. Но он сказал все же немного:

– Ты будешь думать, что я ее спас, как узнаешь впоследствии, что было; нет – она спасение носила в груди своей. Мы шли по одной дороге, я догнал, и она обернулась, и так пойдем вместе теперь.

Затем он встал, принес большое одеяло и подошел к девушке, говоря:

– Не будем медлить, здесь не место засиживаться, воспользуемся темнотой и этим отдыхом, чтобы продолжать путь. Утром не будет уже загадок тебе, я скажу все, но дома. У меня есть дом, Тави, и не один; есть также много друзей, на которых я могу положиться, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хороших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним как утешение.

Красная, как пион, с отважными слезами в глазах, Тави скрестила руки, и Друд плотно укутал ее, обвязав, чтобы не свалилось одеяло, вязаным шарфом Стеббса. Теперь имела она забавный вид и чувствовала это, слегка шевеля руками, чтобы ощутить взрослость.

– Все гудит внутри, – призналась она, – о-о! Сердце стучит, руки холодные. Каково это – быть птицей?! А?

Все трое враз начали хохотать до боли в боках, до спазм, так что нельзя было ничего сказать, а можно только трясти руками. Тут, более от страха, чем от естественной живости, на Тави напало озорство, и она стала покачиваться, приговаривая:

– Сезам, Сезам, отворись! Избушка на курьих ножках, стань к лесу задом, а ко мне передом! – С нежностью и тревогой посмотрел на нее Друд. – О, не сердитесь, милый! – пламенно вскричала она, пытаясь протянуть руки. – Не сердитесь, поймите меня!

– Как же сердиться, – сказал Друд, – когда стало светло? Нет. – Он застегнул пояс, накрыл голову и махнул рукой Стеббсу. – Я тороплюсь. Сколько раз прощался уже я с тобой, но все-таки мы встречаемся и будем встречаться. Не грусти.

Он подошел к Тави; невольно отступила она, обмерла и очнулась, когда Друд легко поднял ее. Но уже двинулось кругом все, подобно обвалу; замораживая и щекоча, от самых ног

поднялся к сердцу лед, пространство раздалось, гул сказки покрыл ропот далекой, внизу, воды, и ветер застрял в ушах.

– Тави? – вопросительно сказал Друд, чувствуя, что он вновь равен для нее летящей стремглав ночи, что он – Гора.

– Ау! – слабо выскочило из одеяла. Но тотчас с восторгом освободила и подняла она голову, крича, как глухому: – Что это светится там, внизу? Это гнилые балки, дерево гниет, светится, вот это что! И пусть никто не поверит, что можно жить так, пусть даже и не знает никто! Теперь не отделить меня от вас, как носик от чайника. Это так в песне поется... – Она оборвала, но сквозь зубы взволнованно и сердито окончила: – «Ты мне муж будешь, а я буду твоя жена», – а перед тем так: «Если меня не забудешь, как волну забывает волна... та-та-та-та-та будешь и... та-та-та, та-та-та... жена».

Она уже плакала, так печально показалось ей вдруг, что «волну забывает волна». Затем стал говорить Друд и сказал все, что нужно для глубокой души.

Как все звуки земли имеют отражение здесь, так все, прозвучавшее на высоте, таинственно раздаётся внизу. В тот час, в те минуты, когда два сердца терпеливо учились биться согласно, седой мэтр изящной словесности, сидя за роскошным своим столом в сутане аля Бальзак и бархатной черной шапочке, среди описания великосветского раута, занявшего четыре дня и выходящего довольно удачно, почувствовал вдруг прилив томительных и глухих строк мелькающего стихотворения. Бессильный отстранить это, он стал писать на полях что-то несвязное. И оно очертилось так:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.

Он прочел, вспомнил, что жизнь прошла, и удивился варварской версификации четверостишия, выведенной рукой, полной до самых ногтей почтения, с каким пожимали ее.

Не блеск ли ручья, бросающего веселые свои воды в дикую красоту потока, видим мы среди водоворотов его, рассекающего зеленую страну навеки запечатленным путем? Исчез и не исчез тот ручей, но, зачерпнув воду потока, не пьем ли с ней и воду ручья? Равно – есть смех, похожий на наш, и есть печали, тронувшие бы и нашу душу. В одном движении гаснет форма и порода явлений. Ветер струит дым, флюгер и флаг рвутся, вымпел трепещет, летит пыль; бумажки, сор, высокие облака, осенние листья, шляпа прохожего, газ и кисея шарфа, лепестки яблонь – все стремится, отрывается, мчится и – в этот момент – одно. Глухой музыкой тревожит оно остановившуюся среди пути душу и манит. Но тяжелей камня душа: завистливо и бессильно рассматривает она ожившую вихрем даль, зевает и закрывает глаза.

Глава VII

В течение пяти месяцев шесть замкнутых, молчаливых людей делали одно дело, связанные общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые единственно золотым громадным мечом, – треск телеграмм перебежал по стране, вручая замкнутый трепет своей белой руке, открывавшей нетерпеливым женским движением матовые стекла банковских кабин, где причесанный человек нумеровал, подписывал и методично оканчивал дело превращения еще не высохшей подписи в цветные брикеты ассигнаций или золотых свертков, оттягивающих руку к земле.

Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу – отчетливее, приемы – просторнее. Они были все связаны, и в то же время каждый был одинок.

Постепенно их путешествия утрачивали грандиозный размах, сосредоточиваясь вокруг нескольких линий, отмеченных на своеобразной карте, в которой мы не поняли бы ничего, сложными знаками. От периферии они стягивались, кружась, к некоему центру или, вернее, к территории с неустойчивыми границами, в пределах которых цель чувствовалась более отчетливо, более вероятно, хотя и определяясь немногими шансами простой случайности, но все же возбуждая решительные надежды.

Уже мерещилась некая глухая развязка. Уже факты, несколько раз проверенные, повторялись блестяще, беглой чертой, подобной отдаленной вспышке беззвучного выстрела; уже прямой след кинулся под ноги, мгновенно сцепив все тщательные соображения в одно последнее действие... действие развернулось, руки, схватив пустоту, дрогнули, немея в изнеможении, и обратный удар вдребезги разнес таинственные тенета. Затем наступил день, в свете которого ошеломляюще ясно стало на свои места все, видимое обыкновенными глазами обыкновенных людей, – как не было ничего.

Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой подошла к мрачной черте. Ее голос стал сух, взгляд неподвижно спокоен, движения устали и резки. Но ни разу за все время, что искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека, она не назвала вещи их настоящими именами и не подумала о них в ужасной тоске. Она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору в уверенности, что смерть Друда освободит и успокоит ее. Эта уверенность, подобная наитию или порыву, вызванному нестерпимой мукой, но длящемуся бесконечно, создала цель, доверенную руководителю, и только с ним говорила она об этом, но всегда с просьбой как можно менее беспокоить ее.

Нет дела и цели, какие рано или поздно не овладели бы всей мыслью и всей душой какому-нибудь одного человека, дотопле, быть может, живущего без особых планов, но с предчувствием и настроением своей роли. Его надо было извлечь из ровной травы голов, узнать и отметить среди множества подобных ему лицом, среди двойников с обманчивым впечатлением оригинала. Казалось, ничто подобное не совместимо с силами и опытом девушки, отъезд и приезд которой отмечался светской газетной хроникой в повышенном тоне. Действительно, она не могла совершить это при всем сознании особенностей задачи и ясном отчете самой себе, что

надо было бы сделать; предстоял публичный вызов или пересмотр населения нескольких городов с испытаниями, занявшими бы не один год.

Нужный человек пришел сам, как будто бы ловил минуту изнеможения, чтобы постучать, войти и заговорить. Был слышен по пустынной ночной улице стук колес, звучавший все громче, и Руна, отогнав сон – вернее, мертвую неподвижность мысли, с какой пыталась забыться на жегшей щеку подушке, – прислушивалась к шуму невидимого экипажа.

– Кто едет ночью? Куда? – спрашивала она, невольно замечая, что прислушивается с странным ожиданием, что кровь дико стучит; казалось, к ней именно направлен был этот одинокий стук ночи. Все громче звучал он, отчетливее и поспешнее становилась его трескучая трель; кто-то спешил, и Руна приподнялась, вслушиваясь, не загремят ли снова колеса. Но шум стих против ее дома; другой шум, возникающий лениво и смутно, коснулся напряженного слуха; тихий, как пение комара, далекий звонок, еще звонок, – ближе стук отдаленной двери, шорох и замирание смутных шагов. Не выдержав, она позвонила сама, с облегчением чувствуя, как это самостоятельное действие выводит ее из оцепенения.

Тихо постучав, вошла горничная.

– К вам приехали, – сказала она, – и мы не могли ничего сделать. Карета с гербами, из нее вышел человек, настойчиво приказавший передать вам письмо. «Едва его прочтут, – сказал он, – как вы получите приказание немедленно провести меня к госпоже вашей». Мы посоветовались. Видя, что не решаются беспокоить вас, он роздал нам, смеясь, по несколько золотых монет. Нам стало ясно, что такое, по-видимому, важное лицо не решится беспокоить вас по-пустому. «Рискнем!» – подумали мы...

– Как! – невольно возмущась, сказала Руна. – Лишь несколько золотых монет... Я посмотрю это письмо. Горе вам, если оно недостаточно серьезно для такого неслыханно дерзкого посещения.

Она разорвала конверт, мрачно смотря на горничную, успевшую, запинаясь, пролепетать:

– Никто не знает, почему мы пустили его. В нем что-то есть, будто он знает, что делает. Он так спокоен.

Руна уже не слышала ее. Устремив взгляд на атласный листок, она видела и переживала слово – одно слово: «Друд»; сама фраза могла показаться бессмыслицей всякой иной душе. Она прочла: «По следам Друда» – более ничего не было в той записке, но этого оказалось довольно.

– Подайте одеться, – быстро сказала девушка, мгновенно сжав письмо, как сжимают платок, – ведите этого человека в мраморную гостиную.

Тогда, среди ночи, вспыхнули обращенные к саду окна. Ярко озарил свет статуи и ковры; неестественным оживлением веяло от этого часа ночной тревоги, замкнутой в беззвучное колесо тайны. Болезненно владея собой, вошла Руна с холодным и неподвижным лицом, увидев там человека, обратившего к ней полуприкрытый взгляд узких тяжелых глаз. Эти глаза выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно резкому звуку; вокруг скул темного лица вились седые, падающие локонами на грудь волосы, оживляя восемнадцатое столетие. Кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джоконды. Такое лицо могло бы заставить вздрогнуть, если, напевая, беззаботно обернуться к нему. Он был в черном сюртуке и шляпу держал в руках.

Руна вошла с вопросом, но лишь взглянула на посетителя, как понятно стало ей, что не нужен вопрос. Это было как бы продолжением только что примолкшего разговора.

– Я не назову себя, – сказал неизвестный, – а также не объясню вам, почему только теперь, но не позже, не раньше, вхожу сюда. Но вы ждали меня, и я пришел.

Дрожа, знаком пригласила она его сесть и, стиснув руки, села сама, по праву ожидая неслыханного. Без жестов и улыбки продолжал свою речь гость; он сложил на остром колене желтые руки, став более неподвижен, чем мраморные Леандр и Геро сзади него со скорбью и смертью своей. Он сказал:

– Я знаю, как вы живете, знаю, что ваша жизнь полна вечного страха, что ваша молодость гаснет. И я также знаю, что, думая в одном направлении, всегда думая об одном и том же, без тени надежды победить этот след молнии, опалившей вас среди вашего прекрасного голубого дня, вы пришли к спокойному и задумчивому решению.

Этими словами ее состояние было схвачено и показано ей самой.

– Ваше имя, – сказала она, отшатываясь, и так хрипло, что было близко к вскрику. – Первый раз я вас вижу. Который раз видите вы меня? Разве я говорила с вами? Где? Скажите, кто предал меня? Да, я уже не живу; я грежу и погибаю.

– Кто бы я ни был, – сказал неизвестный, изменив своей неподвижности и слегка покачиваясь с глубокой и зловещей рассеянностью, – я, как и вы, – враг ему, следовательно, – друг ваш. Отныне, если наш разговор соединит нас, вы будете звать меня просто – «Руководитель». Друд более жить не должен. Его существование нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он – прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы. Может быть, я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы – сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он, – одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобоваримейшей простоте; поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судьбу. Неподвижную, раз навсегда данную, как отчетливая картина, жизнь волнует он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть.

Где слабый ненавидит – сильный уничтожает. Воля и золото говорят теперь между собой. Совершите траты необходимые, быть может, безумные; но помните, что нет спасения без борьбы; не вы нанесете этот удар. Начнем издалека, уверенно сжимая кольцо. По свету бродят цыгане, и они знают многое, что никому не доступно, кроме их грязных кочевий. Они жадны и скрытны. Однако под рукой у меня есть несколько людей особой породы, углубленных, как и я, в рассматривание дымных фигур жизни, в мелькающий и едва слышный трепет ее. Мы сходим по золотой тропе к этим оборванным, волосатым кочевникам, где, под полами цветных шатров, таятся хитрая красота и сведения самого различного свойства, по тем линиям, на какие нам надо ступить. Но не будем пренебрегать также помощью официальной, лишь с осторожностью и выбором чрезвычайными, если не хотим, чтобы поиски наши стали достоянием всех. В этом случае наши карты будут смешаны и поражены тем противоречием, в какое станем мы с задачей своей к прочей действительности.

Чем более слушала его Руна, тем яснее возникала ее надежда; и уже не хотелось ей ни о чем спрашивать, но лишь, единственно, действовать. Глухая пелена укрыла ее душу; без жестокости, без ясного отчета себе, на что решается, блаженно смеясь, сказала она:

– Будьте Руководителем. Я ничего не пожалею на это, ни о чем не вздохну, но буду ждать терпеливо и дам все, что нужно.

Она вышла и принесла все деньги, какие были у нее в этот момент, также принесла чек на крупную сумму.

– Довольно ли этого?

– Пока довольно, – сказал гость, – теперь я могу отлично провести время. А что, безумная девушка, скажете вы, если одно из самых замечательных мошенничеств разыгралось только что на ваших глазах?

Но она улыбнулась – так слабо, как слабо подействовала на нее шутка.

– Вы правы, – сказал посетитель, вставая и отвечивая глубокий поклон. – Когда придет время, я извещу вас обо всем важном. Спокойной ночи.

Он сказал это с резкой улыбкой, пристально посмотрев на нее.

Выразилась ли в жестких словах этих ее собственная жажда отлетевшего в бред и ужас покоя, или было задето что-нибудь еще, более значительное, – но мгновенной болью исказилось лицо девушки. Вздрыгнув, выпрямилась и овладела она собой.

– Идите, – сказала она, быстро и тяжело дыша, – вас зовет посланная сюда ночь. Идите и убейте его.

– Я выйду и стану на его след; и буду идти по следу, не отрываясь, – сказал Руководитель. – Я спешу, ухожу.

Он вышел; его карета отъехала; быстро отлетающий стук колес, прогремев у подъезда, стал вскоре смутным жужжанием. Прислушиваясь к нему, Руна говорила с собой, сжимая руку, смеялась и плакала.

С той ночи стало медленнее идти время. Ее тревога росла; неподвижное упорство человека, вынужденного ожидать пассивно и, может быть, в те часы, когда ломаются самые острые углы тайного действия, скользящего по земле, росло в ней костенеющей массой, мрачно сжимая губы всякий раз, когда ясно представляла она конец. По-прежнему мелькали среди ее дней улыбка или лицо Друда, данного как бы навсегда в спутники, но уже не так потрясая, не так *сбрасывая* могучим толчком, как то было недавно. Теперь смутно мерещилось ей рядом с ним другое лицо, но с неуловимыми и тонкими очертаниями, едва выраженным намеком беспокойного света; то пропадало, то появлялось это лицо, и она не могла отчетливо уловить его. Меж тем ее пораженная мысль двигалась по кругу, стиснувшему в себе чувство безотчетной утраты и тупой страх душевной болезни. Это состояние, усиливаясь, ослабевая и вновь усиливаясь, достигло наконец мрачных пустынь, в свинцовом свете которых гнется и кричит жизнь.

На второй день после того, как Друд, смеясь, перешел границу, раскинутую страшной охотой, Руководитель посетил Руна в последний раз. Как приговор, выслушала она его слова, не поднимая взгляда, лишь тихо перебирая рукой кисть веера; бледней жемчуга было ее лицо. Казалось, сама ненависть, принявшая жуткий человеческий облик, сидит с ней. Его слова шипели и жгли, и он с трудом, сквозь разорванное злобой дыхание, быстро, как выстрелы, бросал их:

– Не было ни одного момента в связи всех действий и слов наших, не проверенного с точностью астрономического хронометра. Друзья были приведены к молчанию; предатели выслежены и убиты; все негодное, бездарное в этом деле было обречено ничтожеству и бездействию. Мы предусмотрели случайности, высчитали миллионные части шансов, – больше, чем исчисляет сама природа, производя живое существо, сделали мы, но лучший момент упущен. Как, где, кем допущена ошибка? Еще не ясно это, но что в том? Какую черту, какой оттенок мысли кого-либо из связанных с нами людей упустили мы или придали ей неточное значение? А! Я опять спрашиваю этот пустой воздух, когда он уже пуст и невинен, когда можно смотреть вверх только на птиц, когда струсившее, или слабое, или сманенное им сердце, покойно улыбаясь, ложится спать, тихо вздохнув!

Он умолк, и Руна подняла глаза. Но более испугалась она теперь, чем когда-либо в худшие минуты своего бреда. Само бешенство с дергающимся синим лицом сгибалось перед ней, и залитые мраком глаза неистово ссекали острым блеском своим вздрогнувший взгляд девушки.

– Мне нехорошо, – сказала она, – идите; все кончено. И все кончено между нами.

Вдруг слабым стал его голос; плечи поникли, взгляд потух, руки, растерянно и беспомощно дрожа, как будто искали опоры. Он встал, осунувшись; вяло и тускло осмотревшись, скорбно повел он бровью и направился к выходу.

– Я только старик, – услышала девушка, – силы оставляют меня, слабеет зрение, – и жизнь, данная на один порыв, восстанет ли опять стальным блеском своим? Я сломан: борьба вничью.

Он удалился, шепча и покачивая головой в свете огромных дверей, делающих его старинную фигуру легкой, как марионетка; забыв о нем, Руна сошла вниз. Ее вело желание двигаться, в то время как смерть была уже решена уснувшей ее душой. Но Руна не знала этого.

Она оделась и вышла, рассеянно кивнув слуге на вопрос, которого и не поняла и не слышала. У нее не было цели, но двигаться среди вечерней толпы манило ее холодным отдыхом шумного и пестрого одиночества. Обычно сияли окна; дрожащие лучи моторов, обгоняя лошадей и людей, то ослепляли спереди прямо в глаза, то брызгали из-за спины, двигаясь и исчезающая среди пересекающихся теней. Густая толпа двигалась ей навстречу, раскалываясь перед этим бледным и прекрасным лицом с точностью водораздела, обливающего скалу; небрежно и тихо шла девушка, не замечая ничего, кроме золотых цепей вечерней иллюминации, рассеивающей под небом прозрачный голубой газ. Временами ее внимание отмечало что-нибудь, немедленно принимающее гигантские размеры, как если бы это явление подавляло все остальное: газету величиной в дом, женское или мужское лицо с страниц «Пищи богов», ширину улицы, казавшейся озаренной пропастью, щель или плиту тротуара, делавшиеся немедленно центром, вокруг которого гремел город.

Постепенно толпа становилась гуще и шире, в ней замечался некоторый беспорядок, разраставшийся в легкую давку. Слышались вопросы и возгласы. Сколько могла, Руна продвигалась вперед, пока не была вынуждена остановиться. Под ее рукой шмыгали дети; ряды спин сомкнутых перед ней, скрывали сцену или событие, вокруг которого установилось цепляющееся за любопытство молчание; если кто на мгновение оборачивался из переднего ряда, в его лице светилось сдержанное волнение.

С сознанием, что происходящее или происшедшее там каким-то особым образом относится к ней, хотя никак не могла бы сказать, почему это, а не другое чувство вызвано было уличным внезапным затором, Руна громко и спокойно произнесла:

– Пропустите меня.

Этот тон, выработанный столетиями, действовал всегда одинаково. Часть людей отскочила, часть, изогнувшись, вытолкнута была раздавшейся массой, и девушка вошла в круг.

Она не замечала теперь, что привлекла больше внимания, чем человек, лежавший ничком в позе прильнувшего к тротуару, как бы слушающего подземные голоса. У самых ее ног блеснул расплывающийся кровавой развод, с терпким, сырым запахом. Лежащий был прекрасно одет, его темные волосы мокли в крови и на ней же лежали полусогнутые пальцы левой руки.

Безмолвно, глубоко и тяжело вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль другой, пока, молниями сменяя друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но видела, для себя, с истиной, не подлежащей сомнению, – того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем. Вдруг смолкли и отступили все, едва заговорила она.

– Вы говорите, – тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора, – что этот человек – самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он – враг мой. Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить, как жила.

Улыбаясь, осмотрела она всех, кто, внимательно шепча что-то соседу, сам пристально смотрел на нее, и, встав на колени, прижала к губам теплую, тяжелую руку умершего. Со стуком упала рука, когда девушка поднялась.

– Прости, – сказала она. – Все прости. В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну.

Она откинулась, обмерла и, потеряв сознание, стала биться в руках тех, кто, подскочив, успел ее удержать. Обычная в таких случаях суматоха окончилась появлением врача и вызовом собственного экипажа Руны – так как некоторые из толпы узнали ее.

Вот все, что надо, что можно, что следовало сказать об этой крупной душе, легкой ничком. Но еще несколько слов, может быть, совершенно удовлетворят пытливого читателя, думающего дальше, чем автор, и в одной истории отыскивающего другую, пока не будут исчерпаны все жизни, все любви, все встречи и случаи, пока кроткие могильные холмы, пестреющие зеленью и цветами, не прикроют жизни и дела всех героев, всех людей этого скромного повествования о битвах и делах душевных. Так, следуя за выздоровевшей, но совершенно забывшей все девушкой, отметим мы и ее брак с Квинсеом, твердой рукой протянувшим ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности, – и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черты птиц от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои; но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь издали, шептала слова, – подслушанные ли где, или возникшие чужой волей? – быть может, слышанные еще в детстве:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...

1921–1923 гг.